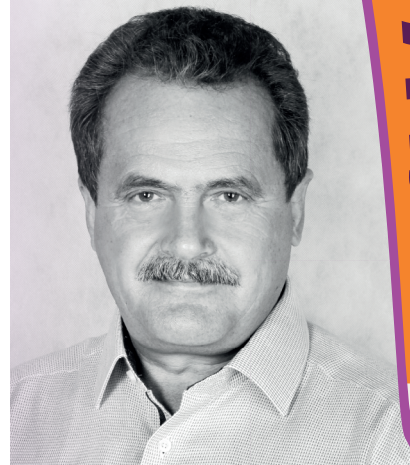


ISSN 2409-8914

РОССИЙСКИЙ КОЛОКОЛ

№ 1-2 2020

ЖУРНАЛ



МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

Журнал № 1-2

Российский колокол 2020

В номере:

СОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА
Роман Сенчин
Разиля Хуснулина

ИНТЕРВЬЮ
Александр Гриценко

ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖЬЯ
Анатолий Ливри

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
Алексей Хазанский

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Разиля Хуснулина

НАКАНУНЕ
Анатолий Обьедков
Нина Филиппова
Алексей Хазанский

ГОЛОСА ПРОВИНЦИИ
Василий Струж

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА
Владимир Голубев
Сергей Шулаков

ЛИТЕРАТУРА МОЛОДЫХ
София Алтер



9 772409 891008



17059



РОССИЙСКИЙ КОЛОКОЛ

Ежеквартальный журнал
художественной литературы

Издается с 2004 года

№ 1–2 (26) 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СЛОВО РЕДАКТОРА.....	6
СОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА.....	9
Роман Сенчин.....	10
Очнулся.....	11
Разиля Хуснулина.....	21
Бабушкин сундук.....	22
ИНТЕРВЬЮ.....	29
Александр Гриценко.....	30
«Мне было плевать на советскую власть, пока она не трогала меня» (интервью с Е. Поповым).....	30
ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖЬЯ.....	49
Анатолий Ливри.....	50
Анатолий Ливри – созидающий.....	50
Yeah, right (рецензия).....	52
ЖОМ.....	54

12+

МОСКВА, 2020

(См. на обороте)



СЛОВО РЕДАКТОРА

Анастасия Лямина

Член Интернационального
Союза писателей, журналист,
публицист

Богатое литературное наследие

В каждом номере мы знакомим читателей с яркими и талантливыми писателями и поэтами, публикуем новые творения уже именитых литераторов современности.

С первых страниц задаём громкий и мощный аккорд: выпуск открывает культовая личность – Роман Сенчин. И удерживаем эту планку на высоком уровне на протяжении всего выпуска.

Он получился богатым на прозаические и поэтические произведения. Авторский состав «Российского колокола» (выпуск 1–2) – блестящий и творчески одарённый. У многих из них за плечами опыт издания собственных книг, сотрудничество с крупными издательствами, неоднократные публикации в России и за рубежом. Есть в нём и работы писателей, которые ещё не имеют «багажа» из напечатанных книг и многочисленных публикаций в ведущих

литературных изданиях. Их произведения вы вряд ли найдёте в Интернете... Но эти личности достойны пристального внимания и читательского интереса. Ведь «Российский колокол» диктует моду в мире современной литературы. Мы помогаем писателям раскрыть талант и заявить о себе, завоевать интерес у читателей и закрепиться в литературных кругах.

Приятного чтения.

Анатолий Ливри



Анатолий Ливри – созидающий

«Новое хочет создать благородный, новую добродетель». Эту фразу Фридриха Ницше я впервые прочёл у Анатолия Ливри, теперь доктора Университета Ниццы, и сразу запомнил её. Созидающий новую добродетель!.. Сам Анатолий Ливри, наверное, более всех наших современников подходит под данное определение: славист, эллинист (публикующийся в академических журналах о неоплатониках и трагедиях Еврипида), специалист по французской и немецкой философии, изучивший в Сорбонне также латынь, иврит, древнескандинавский и санскрит, а главное для нас – самый утончённый стилист русской литературы, проживающий за границей России (о чём я уже не раз писал: Сергей Есин, Дневник-2009, с. 369, <http://anatoly-livry.e-monsite.com/medias/files/sergei-esin-recteur-gorki.pdf>). Ливри, как Гоголь, служит русскому слову вне Родины своей необычной поэзией и ещё более восхитительной прозой.



Такие, как Анатолий Ливри, нигде и никогда не приходится ко двору! Сколько клеветы о Ливри мне пришлось выслушать в Литинституте и в Институте философии РАН, в редакциях московских газет и на Западе, особенно после моего последнего предисловия к его стихам, изданным «Литературной газетой» (№ 33 (6521), 26.08.2015, с. 4, <https://lgz.ru/article/-33-6521-26-08-2015/likuyushchaya-bronza/>)! А сколько продажных «критиков по 30 евро за статейку» (сам я отсоветовал Анатолию снисходить до ответа этим ничтожествам) выплеснуло о Ливри свою безудержную пошлость на страницы «культурологических» журналов после выхода в моём «Дневнике-2015» (6 марта, http://lit.lib.ru/e/esin_s_n/text_02115.shtml) драгоценного свидетельства из Франции о том, каким именно образом Вадим Месяц заполучил – с помощью своего отца – Бунинскую премию 2005 г. (кажется, тогда жюри премии так и кишело академиками РАН; возможно, в будущем независимые исследователи изучат, как конкретно всё-таки Месяц-младший, этот «мажор от литературы», удостоился своих «бунинских лавров» в том далёком 2005 году...). Как бы то ни было, я уверен, что доктору Анатолию Ливри – швейцарскому философу, русскому литератору и европейскому диссиденту, подобно Сирано де Бержераку, ещё не раз предстоит обнажить шпагу против «Лжи. Подлости. Зависти. Лицемерья».

Роман «Жом», или русский «Так говорил Заратустра» (как в шутку окрестил своё произведение сам Анатолий Ливри) – философская поэма, созданная в лучших традициях гоголевских «Мёртвых душ». Действительно, ни Гумилёв, ни Набоков, ни Мандельштам, ни любой другой ницшеанский литератор из России доселе никогда не писал русского «Так говорил Заратустра»! И вот наконец ритмическое Евангелие à la Фридрих Ницше для избранного русского читателя, поэма, где оказались вызваны к жизни (и, возможно, превзойдены?..) стиль, дух, образы, а также сверхчеловеческие цели Ницше, европейского философа, в 1872 году отказавшегося от прусского подданства ради продолжения уникальной научной карьеры в швейцарском Базеле – прирейнском городе, где сейчас живёт и творит Анатолий Ливри.

Сергей Есин, ноябрь 2017 г.



Yeah, right

Написать предисловие к новому роману Анатолия Ливри – это и честь, и вызов. Почему честь – особых объяснений не требуется, Ливри в свои 45 лет – обладатель многих литературных премий, автор многих книг, эта – восемнадцатая, уже живой классик литературы, «самый яркий по стилю писатель, пишущий на русском языке» – это пишет ректор Литературного института им. А. М. Горького, член правления и секретарь Союза писателей России, вице-президент Академии российской словесности С. Н. Есин. Вызов – потому, что пишущий эти строки – представитель естественно-научной школы, и на какие темы я ни писал бы – пишу именно как «естественник». Анатолий Владимирович – мастер изящной словесности, изысканных оборотов, поэтому кто-то вспомнит про алгебру и гармонию, кто-то – про коня и трепетную лань.

Но Анатолий Владимирович Ливри уж точно никак не ассоциируется с трепетной ланью. Он – возмутитель спокойствия сплочённых коллективов литературных и прочих бездарностей, отчего они, бездарности, заходятся в истерике, строчат доносы, обращаются в суды, занимаются сутяжничеством, организуют письма «в инстанции», ведут борьбу не на жизнь, а на смерть. Почему так? Да потому что бездарности так устроены. Их возбуждают две основные причины, лишаящие спокойствия: страх за свою профессиональную «песочницу» и не «их» идеология. Шаг в сторону – побег из их коллектива. Публикации не в контролируемых ими изданиях – как минимум непозволительная вольность. Критика их «истеблишмента» – измена. И дело здесь вовсе не в славистах, которые сражаются с Ливри, это фундаментальная особенность бездарей. Они по-другому не могут, будь то изящная словесность или естественно-научные исследования возбудителем их спокойствия.



Уж это-то автор данного предисловия может засвидетельствовать, плавали, знаем. Правда, сейчас бездари измельчали, раньше на меня писали анонимные письма генеральному секретарю ЦК КПСС тов. Л. И. Брежневу (именно с таким адресом на конверте), сейчас пишут в «Спортлото», то есть в сетевые газеты, но, правда, подписываются, потому что ощущают свою безнаказанность. В последнем письме было 24 подписи, но опять бездарности, как следует из их «научного вклада», разобранный в книге «Кому мешает ДНК-генеалогия» (Книжный мир, М., с. 845, 2016). Так что с «безнаказанностью» у них в том случае ошибка вышла. Французские бездарности из Совета французской славистики писали доносы на Ливри в Министерство просвещения Франции. Иначе говоря, аналогия с доносами в ЦК КПСС того времени.

Так всё-таки что им мешает сохранять спокойствие и принять как факт, что Анатолий Ливри выше их на две головы как философ, поэт, эллинист, славист, как классик изящной словесности, в конце концов? Попробую объяснить на простом примере. Идёт лекция, и лектор, из бездарных, «по накатанной» объясняет аудитории, что в английском языке двойное отрицание имеет позитивное значение, в ряде других языков двойное отрицание имеет негативное значение, но что (при этом) нет ни одного языка, в котором двойное позитивное выражало бы негативность. Ливри с верхнего ряда иронически подаёт голос: Yeah, right!

Ну как такое вынести бездарностям, которые «по накатанной»?

В завершение попытаюсь понять: почему новый роман имеет такое название? Говорю, я же «естественник», и как там у другого классика – «Я старый солдат и не знаю слов любви!». В общем, надо понять. Варианты: (1) в промышленности – пресс, давящая, тиски для выжимания...



в общем, не исключено; (2) в медицине – сфинктер. М-да, вряд ли; (3) в английском языке – агрессивный антисоциальный субъект, другой вариант – человек, не заслуживающий никакого внимания и заботы. Но поскольку роману свойственен ассоциативный характер изложения, это роман-лабиринт, то предоставляю читателю возможность найти свою ассоциацию.

Анатолий А. Клёсов (Бостон, Массачусетс), доктор химических наук, профессор (Гарвардский и Московский университеты, АН СССР); член Всемирной Академии наук и искусств, основанной А. Эйнштейном; академик Национальной академии наук Грузии (иностраннный член); лауреат Государственной премии СССР по науке и технике и Премии Ленинского комсомола; президент Академии ДНК-генеалогии (Москва – Бостон – Цукуба)

ЖОМ

*...И управляет всем праздником
дух вечного возвращения...*

Владимир Набоков

Рёбра её хрустнули, – так трещит гигантская лучинка Ананки в зимне-индиговую ночь мира, прозванного мною *Веселенной*, – и дева, хлебнув собственной крови, мучнисто промычала молитву. Будто доселе дремавший вулкан, её рот извергнул на меня свою солёно-пунцовую лаву, завершив взрыв криком. Блаженно ответили ей нетели, стоном подзадорив саркастическую корчу теней, вольно свивавшихся наперекор приступу плоскоглазия Солнечной системы (как у иных случается плоскостопие!) – полнолунию.



Однако главной задачей тёмных силуэтов было беспрестанно высекать искромётный ритм из валунов, – а они горному бору бесполезней, нежели запятые эммелии.

«Ува-а-аба-а-а!» – даже не гаркнул, но гортанно содрогнулся, мгновенно оголивши вычерненный язык, старейший огненосец ориебасия – небритый бас в бассаре до пят! – ферулой запаливши ель с ослепительным смоляным всплеском хризмы посреди пройм коры, поросших синим лишайником, подскочил на пару царских локтей, завертелся юлой и, завязнув в лисьих полах, проверещал: «Ю-ю-юл-л-ла-а-а!» – отчего винная хохлатка стремглав бросилась в брусничник. А вся гора, натужно переведя рыдающе-загнанное дыхание, отозвалась, грохнув: «Л-л-ли-са!» – словно набрав полную грудь феноменальных литер, сейчас высвеченных в центре атласисто произумруженной просеки, поперхнулась смарагдовым смрадом.

И я пронзил предсердия девы! И я пил её дыхание, полное прошедшей зимы! И она четырьмя трепетными членами обвила меня. И зубы её кромсали мою бороду, свитую из самых сладких лоз. И виноградный дар мой омывал её зияющие дёсны, насыщался хмелем по мере протекания пищевода, распирая русло прежде неведанной ей негой, – схлёстываясь с нижними, кровавыми ручьями, бившими из желудка.

Пружина на выжженном мху, терпко исходящем нарождавшейся черникой, я оцупал замшево-замшелую опушку этого уничтожаемого мною тела, принудив его изогнуться (будто я был фракийским сагайдачником, а девственница – композитной дугой аэда-анамата), отсалютовав сальвой саливы, – и ворвался внутрь влагалища, издирая его в клочья на пути к матке.

Бор прочувствовал проникновение, лязгнул своё «Лис-с-са! Лис-с-са-а-а!», от которого недавно дева кинулась в мои объятия, снопом рыжего ужаса сокрыв лицо, – и, подступив



ближе, блеснул сквозь рой глянцеvито-кадмовых сверчков серпетками тирсов, воздетых туда, к небесам, где золотом окованные тучи напoлзали на луну, теперь рябую в муаровом отражении озера, – точно древний кратер погряз в трясине. Я продолжал погружаться в женщину, пока нерасчленённую, обрывая органы как гроздь, впрыскивая ей во внутренности порции надчеловечески пьяного блаженства, отчего она утюжила себя по вискам, до клыков когтя щёки, – да так мяукнула, когда я, её посредник с роком и Корой, врезался ей в зад, что молодая гарпия сызнова показала свою застенчиво-докучливую мордочку и стала потирать мохнатые лапки от злорадства. Чаща заорала, словно зубы Аресова стража вдруг проросли здесь, заколосились среди этих лиственниц и сосен в плющевых плащах до верхушек да тотчас принялись за избрание титанического эфора, – а шаткая стена людоподобных фантомов неловко придвинулась к моей сочной оргии, бия, будто сотня арктид, тимпанами. Но я уже вплетался в её копчик, обвивал хрящик за хрящиком, позвонок за позвонком до самого атланта и, ввинчивая кровавый крестец в грунт, скоро шнуровал его моими корнями, продолжая прочно впиваться в грунт, – одновременно заражая океанскими образами женских пращуров пляшущую шеренгу давно привыкших к чудесам теней моих апостолов, запросто выпрастывающих среди облачных кишок рыбащеров свои лунарные сигмы изошрённого булата.

Только сейчас, предугадав и исход, и начало истинного бытия, рыжая вытянула из-под косм запёкшиеся губы, зашевелила ими нежно-нежно, будто репетируя псалом первосонья, – так лошадь (это выжившее исчадьё золотого века, динозавровой поры!), мудро склонясь к ладошке тщедушного человеческого зверёныша, снимает с неё клеверную фасцию – до последнего стебелька, инкрустированного пугливым гиалитом, благодушно обдавая всю



эту стойкую дарящую добродетель увесистым облаком утробного пара, словно крестя её в утлой воздушной купели. «Тон-тон...» – призывно пропела она, плавным лепетом задавая ритм бору в ответ грянувшему «Аба-тон-н-н!», и, как это всегда случается ночью жертвоприношения, от свежеспиленных сосен потянуло пряным ветром – обычно послеполуденным, но сейчас выжимаемым планетой, составляющей свои самые хитрые обонятельные капканы в разгар волчьего часа.

Приторный порыв окрепнул, метнув вилохвоста в рот моей жертвы, со свирепым свирестом взъерошил покорно простонавшие кривоногие ели, согбенные выше, у крутояра, взорвал конгломератовые пласты, разогнал тучи, явив трёхкратный додекаэдр цефеиды, вздувавшийся и сокращавшийся, вращаясь согласно своей егозливой природе. И вот она снова мреет, как способна обмирать лишь освещённая ленивица Селена – лазутчица государя Гелиоса.

Мне, самому пытливогоглазому созданию этой горы, предстоит почать тело этой пьяной от пытки нимфы Охмелии! И нет совершеннейшего потрошителя, чем я, пронзающий тьму очами, покамест светлыми – зелен виноград! А расчленять мне приходилось немало: от аллозавра до инопланетных проходимцев, шестипалых шалопаев, этих невежд о двух головах с чувственной румяной шкуркой вкруг туловища, – неизведанных лишь до первого рывка, до начального разнимания сустава, до лекарско-боевого гулко-компактного выдоха! Ибо всё познаётся убийством! Негра ли, дауна ли, чернобудыльных ли баранов, а то и их чабана, суеверного старика Полифема, почившего в моих объятиях, оголтело бредя Галатеей, – ну, кто способен пышнее моего разрыхлить душу страдальца, выпестовать её под ночным солнцем и только потом приняться за жатву?!

Я оплёл её бедро и с гиком сиганул, кровью кропя ягель, в людской, охваченный *дромоманией* ералаш, опрометью



хлынувший на уже бредово жаждущую разъятия женщину. А каждый отдираемый её шмат продолжал настырно пульсировать моим исконным дифирамбом, полонявшим также и жрецов долин: дивно скорбное мычание с оглушительнейшим набатом было отзывом на человеческое закляние. Дотоле оставаясь различим толпе, приветствовавшей меня зычными визгами испуга, валясь на землю, будто ища с ней кощунственного совокупления (вот только не поклянусь миром да Богом, утверждая, каким меня видели их глаза!), я скользил меж каннибалами, по мере насыщения вытеснявшими влажную вибрацию своих душ, обрывая наш чувственный контакт. Ибо дух есть пустой желудок, ждущий жертвы медовой! Хвойная махина догорала. И в её отблесках иной антропофаг – этот скоро костеневший яремник повседневного труда – по-житейски подсаживался на корточки в камыш, измаранными трапезой кистями разбивая белёсые звенья намедни высеченной из скалы струи. Я вскарабкался на бурую булыгу и, распластавшись на ней, весь в россыпи кровавых капель, погрузился во влажное предрассветное забытьё.

Очнулся от разъедающего чувства, называемого вами, лучшими из образумленных людей, «валом нот и тонов неопределённой расы». Таких «полукровок» я представляю цезурой цензуры сердобольнейших посредников самодержцев Галактики – демонами цельными, чистокровными, выведенными из любвеобильнейших Всевышних и легконогейших смердов жребия. Их искусство преподаю я смехом да смертью, пестуя неистребимо весёлый телесный тайфун грядущего сверхчеловека! Фантомы лепидоптеровых фалангитов стройным напором взбирались тропинками сквозь хвойно-людские тиазы, распадающиеся под сенью прозрачно-чешуйных крыл на сосенные, еловые, человеческие куски, теряющие осадок идеальности, – не мешкая, упрямо восстанавливаемые моими очами и тотчас



передаваемые на поруки последующему поколению двуногих млекопитающих, мгновенно одобренному свыше: хребет супротивного приозёрного холма внезапно запылал, приоткрывши плавуче-округлую сущность всего колоссального кратера, а поверх побледневшей воды с флюсами да гусиной кожей, щекоча её пуще прежнего, прокатился, будто чугунный шар, первый рывок окатоличенного благовеста, нимало не смущавшегося двойным плагиатом, – наоборот, горделиво дрожащего всей залихватско-полоумной мощью язычества, запертой в клеть червонного византийского обряда, «литургией усталого Златоуста»! И вот привлечённое умопомрачительным набатом светило показало свою каплеподобную макушку, вытянуло порфиновые руки, переплетя их с моими, запустило пурпурные персты мне в истерзанную бороду, полную осколков резцов девы, женских дёсенных ломтиков, ломких серповидных игл да досрочно – как и всё в этот год – окрылившихся муравьёв. Ещё пропитанные ночным чадом лучи обрушивались на хвойную грядку, стекали по ветвям, словно заря была ливнем, – а окроплённые восходом, отлипающие от древесных остовов двуногие обретали ту относительную завершенность, с коей за пару срамных тысячелетий их смирило единобожие.

Разбуженная стая сорок с лавандовыми животами взмыла, дружно шурша и наперебой обнажая выхоленные, почти платиновые подмышки, усердно перевирала мне измлада знакомое брекекекс-квак-квак Преисподней, только изъясняясь чётче, жёстче, ядовитее – философичнее! – шутя заглушая ненасытные колокола, а затем и окончательно расправившись с карильоном. Каждый из недавних жертвователей быстро превращался в членораздельно мыслящего индивидуума, сносно выдрессированного держаться вертикально, и, сощурившись, туповато оглядывал свой ночной подвиг. А тут же, рядом с ними, захваченный



врасплох образом моей прошлой жизни (о которой пока не время болтать!), я примечал навозные сугробы, мерно расплетавшие ввысь нескончаемое полупрозрачное полотно. Людишки, как обычно, сразу произвольно разбивались по племенно-классовому принципу: мулаты, скучившись, рыли верхними конечностями яму – и земля незаметно вытесняла из-под их ногтей-калек цвета засохшего гадючьего яда сгустки крови; подёнщики с Южного Буга, воровато сварливясь, делили кружевную одежонку, и ни один не мог одолеть прочих в кривобокие кости, слепленные из крошащегося тюремного мякиша, а потому оставляющие на доске нардов сероватые горе-горельефы – хулу матери-земле; крестьяне окрестных хуторов, руководимые рудокудрым впалогрудым рурским архитектором с русыми ионическими буклями, собирали разорванное женское тело и (невзирая на относительную стройность выводимого алеманнского хороводного напева), по инерции сочась ночной вседозволенностью омофагии, исхитрялись скусывать самые лакомые кусочки, складывая объедки шестиугольной призмой, несомненно, аккуратной, по их суждению, но в которой я распознавал тьму изъянов, каждый ценою в ночь пытки.

А ведь предупреждали её давеча посвящённые: «Ну не влачи ты кровь да прах свои на гору, в Альпы! К нам!» Однако как обильна ересью дева! И тем паче сколь разнородна женская скверна! – с каждой оргазменной спазмочкой приумножается чавкающее чванство её, влагалище святотатно посягает на планетное первенство, блудливо диффамирует мир. Сцапать самку за спесь-похотник (феноменальнее иного фаллоса!), опутав её тeneвыми тенётами, полонить в тесный круг заклателей – кромешников зело злой Земли! Тут-то, в крепко запертом раю убийц, поджидаю самку я. И каждый получает своё!

Солнце, польщённое почётным приёмом, уже целиком выставляло на обозрение свой алый диск, точно Молох,



воцарившись над грандиозной воронкой, продавленной пятой бегущего для потехи Господа. Видимый редкому землянину двойник светила уносился выше – к сверкающей всеми сегментами гусенице с широченными жвалами, удирающей от квадриги Гелиоса среди бархатистых барханов небес, на север. А за солнечной тачанкой тянулся наспех пропитанный ультрамарином кильватер, пропадавший там, где императорский церулеум достигал высшей концентрации.

Заплакал навзрыд левобережный дракон, многоочитый, поочерёдно прыскавая ржавчиной из каждого глаза, зазмеился (меж седых пахотных проплешин с безмятежными охряными манипулами винограда, переходившими в надгробья гемютного, но с гиперборейскими вспышками погоста, – а за могилами стена – шпалеры шиповника), щеголяя обновой – ослепительной кольчугой, – помешкал, облегчился кучкой кала (разбежавшегося на задних лапках в стороны) да сгинул среди тисов и серебристых пихт, также затопленных лучезарным паводком, откуда вынырнул ястреб, взмыл – точно вычертил радугу! – и, сирой трелью взбудоражив мою деревянную ятребу, пошёл крестить воздух над обоюдоострыми маковками Швица, всеми в снегах, окрещённых кратким родом людским «вечными». Исползованный человеческий материал! Ни у кого из них, застигнутых кликом крылатого хищника, слёзный цунами не захлестнул ланит, а ведь взрыв рыданий – знак молниеносного становления творца. Только я да мой спутник странный, ранее дымчато державшийся одесную, радостно встречали невинный любвеобильный взор Солнца, раскрывали ему объятия, славили светило.

Подслеповатость засумереченной людской породы – сколь чревата она самоуничтожением! А чандалье сжатие человеческих челюстей, прерывающее дыхание этих надменных тварей, делает их неспособными извить собственную



близорукость, слёзным рёвом кровавой скорби одарив Землю! – всё ещё сырую, алкающую зодческой длани мастера, его зоркою страсти. Например, ну кто из вас, разумных млекопитающих, приметил мои передвижения на месте ночного преступления? – а ведь я проскользнул в прогемоглобиненной бахrome почти вплотную к женскому позвоночнику, диковинно пустившему корни – и росяные, и срединные, – преобразившемся в штаб, уже почкующийся, уже обвивший усиками хвойную перекладину да обросший целым опахалом пятиконечных листьев – слепками единого континента допотопной планеты. Да! Убивая, расточаю я жизнь – в этом мой искус, моё замысловатое искусство! Сейчас только эта колдовски народившаяся лиана, подобно мне, тянулась ввысь, к чему-то ею средоточию пламенной мощи – мужиковато славянскому благодушному спруту энгадинских маляров, – ибо есть много солнц! А неприбранная женская голова, львиногоривая, как Химера, доминирующего оттенка фасосского нектара, отброшенная вакхическим пенделем старого жреца, застряла меж митророгой вершиной муравейника, чьи алчные обитатели давно выстроились вереницей и организованно лакомились склерой выпавшего ока с зелёной радужкой, пока весь перемазанный в крови эфиоп, талантливо паясничая, прековарно не прервал трудолюбивую тризну.

Курящие куреты из Кура уже тащили пегие бёдра угондивших под горячую руку и истово разорванных коров, а за ними, выбивая бойкую дробь, будто выправляя бронзовый обод гоплена киянкой, теряя гвозди-инвалиды с золотыми, сразу схватываемыми (на счастье!) подковами, послушно поспешал лохматый пони в коричневых яблоках, с фиолетовой чёлкой и сеткой, скрывающей лицо до самых отчаянно прядущих ушей, когда, останавливаясь, он миролюбивыми губами раздирал трепетавшую



кумачовыми заплатами паутину, шаря в цветах Сциллы. Уникальный случай! – травоядный, переживший наше разгульное ночевье!

«Пора! – грянуло со стороны. – Давно пора!» – и моя давешняя дружина, растранижившая смуглую святость содеянного беззакония, разбившись попарно, потянулась прочь. По дороге они перекидывались словами, с Божьим гласом не связанные ни единой пуповиной. Мясные обрубки! А к полудню, когда после освежительной грозы баснословный семицветный спектр изогнулся над озером в борцовский мост, – по которому бесшабашно катила кибитка, битком набитая гогочущими привидениями каби-ров, – уже не нашлось бы существа (кроме разве что всё чующих пяточных корней лозы), сумевшего подглядеть мои приторно-янтарные слёзы восторга – первый жом года, издревле свершаемый в одиночку.

* * *

Ну кто я таков? Я, толмачествующий меж поджилками планеты, просеребрёнными древними эманациями Господа, да вашими грубыми перепонками – так, что ладный невод слогов, набрасываемый мною на ваши души, вызывает у низших из вас страстишку прервать убийством мой полузапретный перевод с Божьего на человеческий! Кто я, басмачествующий за счёт людских последышей? – тех, кому вовсе незачем бороздить время; «мясными пузырями» прозвал я подобные этносы: лишь ткнёшь – и лопнет волдырь народов, и провиснет на запястье премудрой матери-вакханки иссохшая плева полисов, и стремглав полетит к нам, чертям, ахнувший этнарх, и сотрётся воспоминание о ветхой расе-обузе. Так, замкнув цикл, с неизживной ужимкой Баубо, бабёнка Земля, балагурия, подмывает свою промежность в кровавых разводах. И неожиданно, вытанцовывая по тотчас прорастающим корнями трупам, –



попирая человечью шелуху! – из заповедной девичьей своего тайного поместья заявляется Он, Господь, увлекает менад, демонски набросавших абрис юбриса, которому предстоит стать оскоминой космоса. Здесь вдруг обрывается очередная спираль эволюции моего деревянного тела, запальчиво подставляемого струям познания, будто апостольский торс седока-самодержца – предательскому дроту. И я ускоренно начинаю обновлённое существование!

Восхититесь первой ароматной драмой моей жизни: сидя на раскалённых коленях Господа, я прижимаюсь к ним своими шерстяными ягодицами и, преисполненный упоением, разглядываю конусовидную впадину посреди изжелта-матовой наковальни, под которой шуруют колдовские мышцы-удавы: «Пуп» – пускаю я самокатящимся колесом слово нашего единого наречия, прозванного «хот мира» и зачатого одновременно с ним. В ответ на меня изливается смех, порождающий свежие пятна обонятельной палитры, вобравшей и Бога, и меня, причём я очутился в жасминовом сгустке: «амрита» – тотчас падает навзничь, прямо в накрёнённую криницу моих наспех сочленённых ладошек новое название, и, схватив его, я вздымаю моё подношение к огневласому, желтоглазому, как лев, неуёмно скалящемуся лику, делясь с ним и без остатка отдаваясь ему, неустанно высекающему мои черты, – покамест упорный речитатив волн (а каждая из них была отдельным неповторимым живым существом) взбивает утёсы наспех, но верно окрещённых пляжных лакомств. Вкусовой вал вспенивает воображение – бесконечную водную гладь с выпученным палящим оком. Мой испод, порочно зазвенев, взмывает на её горьковатом буруне, и, впервые всем желудком весело прочувствовав холодок преступления, я герметично прижимаюсь ушной раковиной к жарчайшему солнечному сплетению: «Гум... арьяка», – бездумно шелестят мои губы. Тут, будто угождая моему молящему



шёпоту, мой торс кольцеобразно стискивают. Больно до смертного ужаса! Покуда из меня не пробивается пряная селадоновая струя, – я теку! – становясь очевидцем выжимания себя самого – словно округлая ипостась Спаса выплавляет из моих суставов воск, смешивает с козьим молоком в дубовой лохани, откуда валит пар, утягивающий наконец меня среди плотного облака улетучившихся рыданий счастья, к радостно изумлённой лазури. Так я пережил свою первую страду, разом затопившую меня куда более древним воспоминанием: точно я, облакаясь плотью, охватываемой молниеносным спазмом, проникаю в земную толщу, вверх по скважине, вдоль рёбер Эреба, со скоростью невероятной (нет! нет! трижды нет! верю!), а в мою обрастающую мускулами, кожей да шерстью спину дико вперила своё золотое око планета, – и розовеющими ягодицами вбираю я её ядрёно-свирепую мудрость, ненавистницу того, что нынче зовётся «смыслом». Рывок! Ах, это пламя взаимопроникновения! Ах, этот рычаг Галактики, уже развесёлой, вполпьяна вдруг накачивающей тебя ярым даром! Ах, братские вибрации гения, столь схожие с отзвуком стонуще-клювастого курлыкканья стерхов, стай вышибающих плавко-опаловый клин горного горизонта!

Затем наступает мрак – смачный, всепоглощающий, сверхжизненный. Это тёмное Провидение, чаю, и породило меня, влюбчиво-мстительного, парнокопытного, с жёстким мехом до бёдер, переходящим в мельчающий оливковый пух, что сродни водорослям, внезапно обнажаемым отливом на орошённом полуднем валуне. Моё отчее исчадьё ночи, тряся огненной прядью, сызнава вырывало меня из забвения, усаживало на свои колени, обхватывало мои бёдра – по самой волосяной меже, – его финиковидные фаланги вытягивались, пока крепко не окольцовывали мне ноги, и я тихо хохотал, увлечённый призывным содроганием мира, да, наслаждаясь обыденностью чуда, всплёскивал



копытцами – точно в пах мне вогнали властно изготовившийся к взрыву неизрыданный пузырь слёз.

Ведь что ни говори, а вечная память – не более чем протез из слоновой кости, заполняющий проём подросткового предплечья, ненароком проетого доверчивым Богом-Отцом с семейством на пикнике у извращенца. Вот и мои воспоминания приобретают наконец цепкость, изворотливость, перехлёстывают через хребет самости, одним словом – *плющевают*, сплетаясь с *Веселенной*! С тех пор яд минувшего – всегдашнее зелье метаморфозы – стал утехой моей повседневности, оросил её, просочившись под эпидермис вечно возвращающихся снов. Жизнь взвихрила меня. Каждая её излучина насыщала мою начинку пуще изгибов Тигра – кормильца Таврских гор, – питала плодородие души, доверчиво канувшей на дно желудка. Так что всякая тайна, – переданная мне то Господним прикасанием, то удалой оплеухой шального копыта, а то и хмельным храпом дальнего предгибельного слёзного хохота или же внезапно вставшим на дыбы взором (туда, к допотопным кандалам, сковавшим нас с, как его прозвали отпрыски двуногих маловеров, Сатурном), – каменела проще листьев калины, невзначай увековечивших своё пальчатое жилкование.

Я был любимцем и сыном столь земного Всевышнего, *одержавшего* нашу шуструю шайку, – наиневесомейшей частицей, бултыхающейся в истошной покорности ему, почти безымянному, своим прозвищем единящему все возможные на планете звуки. Бог звался то ли Гиннарром, то ли Гаем; то ли Леем, то ли берёзоруким Березасавангом; а подчас и во все (не извернуться квёлому жалу вашей пасти! Слушай нас, первородных!) изливался из наших восхищённых глоток роскошным сплавом рыка да шипа: «*Иггрграмрхлидишкьяльфар!*»; по-нашему же – Всевидящий Игрок. И представлял он пред нами не бескопытным подобием рогатых сорвиголов



своей свиты, драпированных небридовым юбрисом, а удавом, винтовальной лаской свежей чешуи лишавшим бересты ствол, целыми днями источавший бледно-ледяную лимфу, да наконечником хвоста аргусовой раскраски погружавшимся сквозь корни дерева в мою родину, – ко злу; или рюхающим барбароссой-трагелафом, распалённым буйной страстью в косящей рыси за газелями по гулкоэхому лугу (осенью накачанные дурманом яблоки подменяли экстракт козло-оленьей Афродиты); но самым блаженным было, конечно, его незримое присутствие, проемлющее нас сквозь всё: от всепьянейшей ватаги, ведомой плешивым, вечно покрякивающим кряжистым сатиром в рысьей шкуре (с сердоликовыми рельефными венами на тыльных сторонах ладоней и воспалённым лузгом под кустоватой, без единой седой зазубринки бровью смутьяна), да четырёхкрылым осликом (аквамариновое брюхо, скорлупа – плод ночного разбоя – на выцветшем с годами нежном носу), впряжённым меж пары вороных ягуаров с бирюзовой поволокой очей (что за наслаждение запустить пальцы в их шерсть!), – до неукротимого парада рехнувшихся планет, к коим я воспарял в Божьих объятиях, чая разорваться там, средь дымки Гелиоса, однако исправно приземлявшись, неизменно непочатый Солнечной системой, сберегавшей, как оказалось, лакомство напоследок.

Наш поезд пересекал, диагонально её опоясывая, единоматериковую Землю (будущие океаны до поры обручеобразно грезили в мерцающей вышине), неумоимо влажно-дароносную, в два пёстрых, как любимая порода моих коров, мига послеполуденной дрёмы (первым канул, другим – всплыл, закачавшись), способную обнести нас изумрудным казематом, свитым из бамбука да лиан: Владыка распахивал, словно крылья ланит, очи. Рёв вырывался из его глотки, лужёным отголоском прокатываясь по Полярному кругу, – куцеватый гиппарион взвизывался на



дыбы, и чрез его распальцовку удовлетворённое светило лоснилось будто меж кремлёвских зубцов (за такими станете вы прятаться, обороняясь от выродка в себе, терпя неизбежный крах). Господь же, внезапно шестирукий, вооружённый кинжалами, с точильным скрежетом проводил сизым клинком по своему языку, раз, второй – нам на подставленные длани брызгали разбухшие красноватые, словно сияние усопших звёзд, капли ихора – и все мы, с гаком рванувшись в джунгли, прокладывали табору тропу. Ураганом нёсся я на стволы, с чутким бешенством тотчас выявляя, куда рубить. А иной ярый явор, презирая падшую падчицу рассудка – ложь, тряским призывом подманивал свою гибель, точно затевал себе уход позабавнее, навеянный моим Богом – этой шаровой шарадой, шестилезвенно-самозабвенно бушевавшей впереди (ибо всякая молния – загадка), высекая из поражаемых зарослей беспрестанно нарастающий рокот, под который даже сейчас, на совсем иной теперь, отяжелевшей Земле, так и разбирает прогорланить нечто разнузданное, берущее свои истоки из урчаще-червонного чрева прошлой планеты, позже оказавшегося также и моей маткой. Стук по истуканам постепенно выплавлялся ударным однозвучием, вгрызавшимся в сатировы желудки, вдруг распухавшие от дифирамба. Однако наш божественный авангард реактивным коловратом продолжал буравить простенок плодовой планеты, всё менее и менее уловляемой раздираемыми сетями чувств.

Потом сгушалось слепополуденное пекло, наслаиваясь узорными пластинами полярной подцветки на посрамлённый тропический лес, и мы забывались мертвецким сном во всю насосную завёртку, как выражаются на любимом мною нынче языке. Разгорячённое баталией Солнце затопляло нашу победу вермилионовым колоритом, пока мы, очнувшись от липкой сиесты, изготовлялись к тризне по



врагу на скале, из которой внезапно выстреливала веле-речивая водная парабола, высекавшая последний бисер светила, насыщая им нас средь игр, смеха, всезасилия хохочущего Всевышнего, исчезающего вдруг, не прекращая, однако, питать всё кочевье своим тугим гоготом дагона. Но стоило Ему пропасть, как воздух испещрялся сонмом разнопёрых демонов, то здесь, то там каждый на свой лад когтивших Гекату – уплотнявшуюся, озверело прораставшую в плодоносные слои арктической почвы. Самцы ибексов поднимались на задние копыта вкруг кедров, обречённо вздымавших нижние ветви, и, гулко стуча рогами о стволы, пожирали хвою, обгладывая уснею вместе с корой, – слаженностью своего ненасытного хора уподобляясь нашим пляскам. Ритмичное бление козерогов вдохновляло подпевать им сначала гортанным мычанием, затем и во весь голос. А вся нежить сосредоточенно готовилась к феерии ночного пиршества, принимая в себя четвертицу Верховного Кудесника и лишь изредка отвлекаемая обжигающим вокальным залпом птеродактилей, уже тогда наречённых жар-птицами.

«Иа-а-ау-у-у!» – продирали потёмки вой. Мы знали, кто это глаголет нам, спугнув исполинскую, с полинялой оторочкой и павлиноглазыми крыльями бабочку вглубь трущобы, подкрадывавшейся, как ей и положено, треща, всё ближе к скале. Вдруг кимвальный вал окатывал округу – столь задиристо и разгульно, что весь наш скоп кидался вверх, вверх, вверх, обрывая бурьян, вцепляясь, если надо, в коряги зубами, оставляя на них фосфоресцирующие конstellляции – порой расщепляя дерево, – да сбрасывая копытами гранитные брызги на рога отстающих. Кремнёвые торцы, ещё хранившие дневную теплоту, иссекали наши скулы. Но собственная кровь глоталась восторженно, пьянила альпинистский порыв бегунов, а круговорот сока своего тела – жом с мгновенным испитием! – воспринимался



очередными чудесами, вроде бы невольно и вчуже перепавшими от демонских щедрот нашего Господа.

Ухающая сатирова орава протягивала скрюченные пальцы к проклянувшемуся – из нашего! нашего же хаоса! – Ковшу. А лилии, белее млечной мольбы Амалтеи, испаряли из корявых трёхязыких пастей конский дух, бывший куда едче запаха самки гиппариона (карабкавшейся под ещё девственной промежностью, – вот проступит луна, и каюк плеве!), покладисто сипевшей благоуханным уютом своей утробы мне прямо в нежную завязь хвоста, вдруг предавшего нашу сатинову расу, пружинисто скрутившись, ответствуя трепетному импульсу, нахлынувшему со стороны, – эху кабаньего хрюканья. И, несясь вверх, с обыденной бессознательностью прозорливца, запросто пронизающего войлок грядущего, я чуял, что зов вепря доставил именно Борей: так случалось *ускорение* – казалось бы, чуждый отголосок жертвоприношения Господней супруги заражал меня вирусом качественного видового скачка, порождённого неуёмными сокращениями планетной матки. Чётко вымеренная физическая реакция завершалась – и я претерпевал трансформацию. Всегда совершенствуясь как тип, всегда в забытии! Поэтому на гребне скалы, когда, казалось, ещё немного – и небесное пузо кесарски взрежется да затянет меня к лазоревой диафрагме, память обрывает свою нитевидную сущность: «Нефелл! Нефелл-лл!» – только и проверял я тогда, присовокупив надсадный визг к вибрации громадной абсентовой лямбды, покуда отчётливо вычеканенный клин наших воспаряющих тел (или это я медлил с полётом, или одно из моих бдительнейших очей застревало в трещине утёса – оно и поныне там!) вспарывал брюхо мерцающей Медведицы. Лишь пару тысячелетий спустя до меня дошёл подлинный процесс пророческого графизма – изначально экстатически-эфирного ваяния письменности! – покамест



вы, людишки, вдосталь окосоумленные здравомыслием, не сноровились копировать ураномарание на камнях. В мой распахнутый рот пролилось горчичное причастие мрака, и, сбросив пятнистую шкуру, – застыдившись перед тьмой обузы одежд! – я кокнул костяным каблуком гранит, наконец расквитавшись с притяжением планеты.

Остался сладковатый слепок счастья глассады. Вы ль одни про милость вашу не сказали ничего, Боже?! Просто подхватывали меня незримыми руками, и не мозг – бока мои пылали от благодати, точно их натёрли амритой. Наши объятия продолжались, пока солярные холстомеры не переваливали через полуденный хребет. Вспышка сознания прокалывала моё тельце с первым лучом, и я вскакивал навстречу Солнцу, рыдая от хохота, с ланитами, орошёнными адски огненной капелью, пролитой в сновидении, рассечённом светилом. Живот упоённо гудел зудом шершавого полёта средь звёздных дебрей. Разбитным яблом копыт я будил безучастных берегинь и, оросив их персидские перси своим семенем, устремлялся через шорох археоптериса в хрюкающие камышища, одновременно ласково вторя шипящему искусу древоящеров, в коем мне мерещилась мерцающая глоссолалия Господа моего.

Иногда же, спросонья, моё копыто несло гибель улитке, нажимом хрустким расплющивая беломаковую цитадель гелициды, уже почти схваченной голубоватой жужелицей. И, словно скошенный Словом Божьим, бухался я на пульсирующие прихотливой крупнозернистой яростью колени, сцеловывая поочерёдно скорлупки погибшей да отплёвываясь самородками, прилипшими к её подошве, шибко шепча, захлёбываясь покаянием, мольбу о примирении (тут щербатое ощущение контакта камышовой чешуи настигало меня!), даруемом сводней-планетой, по примеру царски вплавляющегося в прочервоненную синь Кольца Колец, посредничавшего меж других, куда круче



цепляющихся за мой желудок наваждений, целокупностью коих являлся Мой Босоногий Поверенный. И вновь воплотившись в привычного быкорогого молодца, встречал меня Бог у кортежа, слизнувши с моей губы осколок раковины – о, это приближение к моему лицу улитки Господнего рта! А возвратившись в мой вечно подвижный дом, уподоблялся я нечаянно убиенному моллюску: выкуп оплачивался сполна! Теперь можно было рыком подбадривать впрягаемых сфинксов с тиснёнными золотом лбами, урчавших мне спросонья в ответ, бия хвостами по моим икрам да ревниво оспаривая упряжное первенство у гиппариона – незабвенной сверхженщины, также одеваемой взбухшими хлопьями страсти согласно заведённому Эросом ритуалу лобзаний: в очи, в левую, вымазанную амритой щёку, в средний пальчик десницы... «Добре!» – Боже со своего треножника испускал клич скитаний. Один из сатиров овладевал рогом и трубил ортийский сигнал – трель Артемидовой стрелы! Источавшая свой первый яд наяда (ещё в ту пору наострился я распознавать будни влагилица по форме рта самочки: когда губные вершки выдают секреты губных корешков!) настигала тиаз, ноготком мизинца выковыривая прилипший изнутри к премоляру и десне (блекло-розовой, как полуденная плоть смариды, с рассветной зарёй выбросившейся на отмель) сгусток амриты да сквозь бойницу давеча выбитого резца (перестарались!) плюясь в тотчас изощрявшуюся от контакта с нимфической слюной осоку, – и, опробывая инакомерное оральное пространство, свистом воспроизводя дифирамб праздношатания по приноровившейся к нам планете: как распирало мышечную фасцию её вымазанного углём виска с солнечной червоточиной на самом пике пучка! А это воспоминание об отдавшей гимен – не нам – Богу бега! – морской нимфе с ещё живой пяденицей, вялыми крылами присохшей к киноварному разводу на её бледно-розовом бедре, и донныне сводит мои корневые волоски!



Колёса затягивали шёпотом мотив, подслушанный ими на Южном полюсе у грибного дождя (вкрадчивой пальпацией пляжных пожухлых листьев раззадоривавшего пресную невинность почивающей глади океана, тонувшего в густо-пегом тумане – инда наш брат, алчный до алычи сатир, сливался со сливовым стволом) да переиначенный на неизбывный, окованный золотыми пластинами лад. И день заботливо вторил своему искромсанному, переваренному нами предтече, чей отрыгнутый за полночь жмых вперемешку с душисто издыхающим валежником рассеяли мы, раздробивши ей венечный шов, по сутулой скале-акрокефалу.

Здесь я медленно подхожу к тайне. Итак, что за чудное создание надиктовывает для вас эти строки сумасбродные, полустихотворные? – сродни волшебству, когда из земли победоносно (сиречь снискав Никейю!) ровнейшими рядами вырастает лоза, выжимает время, словно сок, из собственных гроздей да, тормоша шафранный фарш глины, облекается плющевыми цветолатами талому снегу наперекор и вот – столбенеет в предбитвенном восторге. Чреватое вечностью перемирие! Как из возлюбленного сына Бога (лианами гладившего меня, едва другой Всевышний вперивал в пляшущих вакхантов своё не знающее зависти око) стал я бессмертным сподвижником его, неуязвимым квазитейвазом, легко пробегающим по сорок фарсахов в час и снова запросто запускающим корни в целину? Знайте, ведь я всегда предчуял свою участь, например, когда, очухавшись от очередного спирального *ускорения*, замирал я на громыхающей митральным клапаном прогалине и вместо обыкновенной бронзовой браги из моего рдеющего краника вырывалась странная струйка, под чьим благоуханием тотчас расцветали шикарные репейные уголья да медуницы принимались вить в них свои заветные узоры. А после, когда, беспечно запечатлев



чудотворство в закромах Мнемозины, я пританцовывал вверх по косогору, щекотавшему мне голени вспотевшим, словно от смятения, муникеонским дёрном, – то, внезапно сгибаясь под сладостной глыбой рыдания, я прижимал к земле разгорячённые ладони да, втянувши грибной дух с железистым привкусом русел высохших родников (ведь холм способен заточить запах, как узника!), вкрадчиво целовал русо-салатовые травинки, всем животом судорожно впитывая подкожную теплоту планеты – словно там, подо мной, приковали нежно и шумно дышащую корову с важно кровоточащим, пока остывало, тавром. Вот тогда-то я и упивался грёзами грядущего, точно мойра, спьяну позабывши службу, на миг разворачивала и, спохватившись, тотчас скатывала неверными пальцами свою рунами исколотую бересту. А я глядел, взором урывая чудотворные строки: багряные – о Солнце, лазурные – об океане, скопище зелёных строф (тут судьба насилу расправлялась с диссонансом) – о неких ухарски прыгающих кустах.

Помню, чем плотнее я приближался к моей гибели, тем совершеннее становилась поступь моего бега, – словно я холстомерил саван наипридирчивейшей швее-гигантше, – тем жарче бурлило моё дыхание, тем глубже бил мой хищнический взор, не брезговавший и мелкой дичью, молниеносно жертвуя её на прокорм хохоту, делавшемуся всё безудержнее, покуда Земля покорялась мне. Планета будто ластилась к фавну мурлыкающей пантерой, до поры прячущей когти, подманивая кортеж к месту моего убийства (предпочитая тропы, что тянутся вослед светилу в ночь перед солнцестоянием), а её колорит пропитывался зеленью смачной – «вердепомовой», как говаривали тысячи лихолетий спустя анатолийские галаты.

А если в розовой кисее заборейского лукоморья кто-то из нас забывался бездыханной спячкой, то мы, счастливые соучастием очередного божественного беснования



(«Господней сластью» прозвали мы такие праздники), бережно поднимали труп и цокающей рысцой – каждый новый шаг высекал из нас добавочную порцию гибчайшего бесценного смеха, коим во всякий час были переполнены мы, – спускали тело к волнам, взбивавшим клинописью исцарапанный курган амриты, чей застывший коричневый остов казался отполированным, беспрестанно оплавляясь слюдяными слезами, сразу отвердевавшими янтарным панцирем.

Гвалт совокупляющихся чаек покрывал запыхавшийся прибой. Черноголовые самцы, боязливо вертя оранжевыми клювами, трепетали крыльями в такт нашему бегу, исподволь переходя на хоровой хохот, приветствовали и нас, и своё чаемое потомство. А ялик уже поджидал труп, точно невзначай причалив к амритовой пристани. И пока мы, копытами увязая в благовонном месиве, укладывали на морщинистую обшивку кормы быстро костеневшего сатира, увенчанного короной павлиньих перьев (призом за потустороннюю победу!), воздавая ему последнее братнее лобзание – как бы заглатывая с известнякового холода губ невысмеянные осколки жизни, – некто, невидимка, упруго заполнявший лодку, даже переплёскивавшийся через борт в златочешуйное море, уже отталкивался от берега, и чёлн незримой, но оттого не менее властной ужимкой согнав чудовищного шмеля, качаясь, плавно, как в человеческом сне, заскользил поперёк прошитого солярными жгутами полотна. Беспольные уключины неожиданно вдохновлялись певучими демонами, полонявшими их своим озорством: это покойник прощался с нами свирельным стоном металла о дерево, от которого неведомой медвяной истомой сводило грудь, а мы опрометью бросались в пляску – сурьмлёную, размеренную, круговую, высекая из платиновой пены рыжий шквал брызг, ожерельями осыпавших шерсть моих пястей. Такт танца, казалось, бил не из наших тел,



но впрыскивался в копыта из ила, нет, бери глубже – из недр ойкумены, а потому нередко мы застывали все разом, скованные наркотическим столбняком, разлучённые с незримым, ритмотворным током, неукротимо сияясь нащупать контакт, вот обнаруживая струю, опять бросаясь в танец. И, наверное, обуянный пульсом нашего похоронного хора, ялик посредине залива внезапно испускал вьющийся ванильно-дымный шнур, – со скрипом ввинчивавшийся в небо, – вдруг извергал огонь, будто раздвоенные языки моря, сплетаясь, слизывали его. И вот бухта – пуста. Только полупрозрачная сиреневая вуаль змеилась прочь, пока, прожжённая воронёным солнцем, не усваивалась бесстрастной голубизной.

Подчас же бездвижие сковывало одного из нас посередине обширного материка (а Господь наделил Землю лишь сей пентаграммой суши!), пока мы, оседлав скальный дуб, отчаянно жестикулирующий в массивной сини сенильных туч, нарубали себе его руки на пробковые коньки. Смажешь их, бывало, потом, вернувшись к океану, амритой, привяжешь к копытам да скользишь по воде среди верещащей козлорогой стайки, увёртываясь от камнеобразного тенепада чаек, дельфиновых спин, мелкокольчужных, точно оплавленных хвостов наяд, тянущих из пены проворные пальцы к твоему восставшему члену, – который тот человек – мошенник поздней эпохи (стащивший нашу тайну для своих тяжеловесных выкрутасов и захромавший однажды над гладью галилейского озера) прозвал «срамом». Ха! Так вот, стоило уложить рогатый труп на почву пожирнее, как древесные корни тотчас оплетали его, планета принимала к сатиру соцветиями полыни, обвивала его лианами погибче, пока непомерные транжиры – алкионы, нарывавшие пальмовые листья себе на новоселье, насыпали над ним светло шуршащий курган. Постепенно всю лужайку полоняло урчание, сначала едва различимое, затем напропалую



государившее по лесу, внезапно принимавшемуся таинственно лосниться стволами. Зелёный холмик трясся и неожиданно распадался на части. А там – ничего! Земля всасывала тело без остатка! – туда, вглубь, к своему пульсирующему злу. Наш вопль приветствовал успение сатира. И снова – ступор. Даже дуб застывал, растопылив суриковые от крови коряги, не сумев вовремя подобрать корни. До новой похоронной оказии!

Помню, стуча копытом о копыто, возлежал я на животе, дивясь недвижимому кортежному колесу, – подмечая одновременно розовую сыроежную шляпку, обсыпанную крыльями раннего муравьиного лёта (самых мирмидонян сожрали сбившие их остромордые лунные медвежата). Прогнивший жёлудь гулко стучался оземь, плюска отскакивала, и я насыщался, обогащаясь им, пружинистым ужасом окопавшейся в плоде нематоды: испарина деймоса – клей, соединяющий драгоценнейшую крупницу космоса, мгновение вечного возвращения. Вой Бога. Барсов прыжок, различимый лишь по перемещению вкрадчивого когтистого жара. И колесо – само! – снималось с места. Каким чудно ноющим страхом переполнял меня рывок этого самокатящегося диска в невинных виньетках секвойных щепок и игл, спрессованных смесью смолы и Гелиоса, – всё моё деревянное нутро скрепит нынче!

Помню, содрогаясь от смеха, обтанцовывали мы (так теперешний садовник окучивает) лобастых быков, разъяря их до хрипа, плескавшегося в сусляной прелюдии убийства, когда белки глаз наливаются пурпуром да всё ниже спускаются от скул растущие рога: будто Астарта стартовала обряд гостеприимства. Здорово полыхала шкура зверя! – Солнце, напяливши узловатые рукавицы (шаловливой щекоткой зудя в сатирических зубах), выжигало ему на боку причудливое клеймо, пуще распаяя быка, чеканящего на чавкающей глине лики златоглавов, – и



сколь отраден становился кордак со смертью под прицелом рогов! В этот самый момент любимый чёрт гоготал в мою взъерошенную душу – Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! – только тогда я чуял, где она копошится – в желудке! – и как ражая жуть заставляет трястись её фалдовые стенки, раскрытые, словно цветущая лилия, ввысь. И каждый из нас жаждал заплутать в огненнодышащей лаве безумия – залоге бесконечных походов с этим буйным Божеством, на этой Земле, под этим искромётным обручем... видевшимся мне в последний раз, – и я сразу стал уверен, что никогда более не погляжу на лимб планеты! И впрямь! Никто из нас не унижался до преднамеренности: предчувствие маячило, взрывалось и исполнялось молниеносно, точно всякое событие являлось намертво спаянной троицей колец. Усомниться, прервать процесс претворения чуда казалось ересью по отношению к вездесущему белокурому Провидению, куролесившему в нас негой непрестанного упования.

Наконец я перед ним, в стайке Бромиевых парубков, нахлёстывающих себя по бёдрам вороньими кисточками хвостов, пока оба пальца наших ног, крытые роговым башмаком, размежёвывают ярды сатировой отрады – ведь ярость, ворсистой фасцией лучей вышибаемая недрами мозга, отмеряется лишь землёй! А он, блажной тур, не знавший ярма, вдребезги растоптав хрупкую когорту негрорукых берёз, уже вперил в меня, с фырчащим храпом, голуботвёрдой плёнкой подёрнутые глаза – причём в правом оке дрожала оранжевая искра, изредка налезая на свою алую карликовую спутницу. Даже кровеносные завои его оттопыренных ушей корибантила смертоносная ритмика. И жёлтые волосы ноздрей колыхались, словно прискальные водоросли, распластываемые штормом. Заворожённый пластикой своего убийцы, я впервые постигал грёзы, наяву затягиваемый сновидением, подчиняясь его лютости



посланцу, всё ближе подступавшему, заслоняя мне Солнце. Бык, будто перехватив танцевальную инициативу, перекачивал в себя взрывчатый жар моего живота – рычаг сатирических плясок – и теперь, урча, с набрякшим членом наваливался на меня, обезволенного, навязывая своё партнёрство. И я уже вторил каждому шагу колосса, двигаясь на его лад, заражаясь всезасильным боем его кровотока. Помню лишь чубатого ибиса с ладной заплатой берёзового листа на кончике длиннющего клюва. Птица шествовала задумчиво, важно притормаживая и снова трогаясь в путь (словно сочиняла преизвилистый дискурс – настигает меня осовремененное знание!), становясь частью бдения, обузданного будущим душегубством.

Именно в этот момент я выдрал свою волю из трясины соляных бликов, утягивавших меня вглубь, к подлой рациональности, уже оголявшей испокон нашего века оголодалый индиговый зев, и завопил в громадину морды, прямо в её покатуую переносицу. Звонкая голосовая струя прервала звериный напор. Молниеносно я метнулся на спину быку, поддал ему копытами под микитки, промежуточно прижавшись к горячему хребту: «Н-но-о-он-н!» Прыснули врассыпную сатиры – даже тот, впервые замеченный мной, прыгнул, гремя о гравий конскими наростами на ступнях, с пути моего палача, захрустевшего, ревя и разбрызгивая пасоку, которую я, гогоча во всю глотку, растирал по скулам.

Как запросто предсмертный воздух раздражает гортань, будоражит душу – в раж вгоняет желудок! Сколь изворотисто зрение, самовластно бороздящее планету, предупредительно открывающую свои наилакомейшие ломти! Будто бешеная стремнина этолийской реки, приняв быкорогую форму, уносит меня. Вот давеча расцелованный в несправедливо исхлѣстанную пановой плетью сурну пожилой гиппарион-горбунок приподнял лапку –



да так и застыл, поигрывая левым пальцем, выпуклыми очами оглядывая казнь сатира быком, заскучал, перевёл взор на взаимно и прочно притороченных Эротом эребий, с чернушек-нимфалид – к запертому радугой златокрылому кречету, речитативом бередящему округу. Где, в каком бредовом будущем я уже встречал такого пернатого хищника, победным криком возвещавшего моё превращение?.. Вот злоглазая цикада зациклилась, реквиемом сияясь угодить в такт бычачьей чечётки, переняла румянность прозарниченных туч, затаившись в пазухах офигевшей гифены, а к ней, будто нехотя, скачками подбирался крапчатобрюхий дрозд – и его прыжки также метили темп погони вслед моей смерти – мигом вибрация пальмовых щупалец пронизывала планетную кору, упреждая пару Парок, учётчиц седьмого круга земной мантии, о моём целеустремлённом приближении, перешедшем в мычащую иноходь. Вот Гелиосом обласканная до игреневости тигрица нашего кортежа заспешила, хохоча, с доносом к Владыке, пославши прощальный баритоновый рык взбрыкнувшемуся быку, завертевшему мордой, отсекая сочные дубовые ветви, стегавшие меня по губам, летевшие на грудь, застревавшие в паху, – набивая промежность всадника прошлогодними желудями. Я развенчал себя, смахнув с рожек прочно сошедшийся пазл липких листьев, и, испустив вой «Эвоэ!», кубарем покатился по калейдоскопному склону через гадючью кутерьму (успевшую дважды ввинтиться мне в плечо), через молочный, с пористой амритовой пенкой ключ, через вересковый ковёр, клокотавший песней пчелиной страды, – и стукнулся теменем о корягу. Чёрный тополь нахохлился, чопорно выжидая продолжения. А за мной неотступно следовал урчащий ловчий, загонявший меня, убаюкиваемого ядом, к точке, предназначенной для моего истребления с самого сотворения мира, когда Вазишт испепелил оравшую от родов Тиону.



Небо с розоватой зеброобразной подштриховкой, малюемой Господом в приокеанских долинах, перевело на меня внимательный просветлённый взор; медуница оставила раakitник, опустилась мне на нос, преждевременно изготовляясь к опылению, и отдала мне своё жизненное жало; полный паточной паники, я развернул уши, прядая ими, заарканил звуковую синестрепетную струю, вертикально сверлившую грунт, – означавшую мне путь. А в мягких катовых сапожках, стачанных случаем из бычьей слюны бешенства да извергом же взбитого божьего деликатеса, накатывал палач, разрывал мне печень с желудком раскалёнными рогами и, визжа от облегчения, копытами прессовал хрустящую грудь. Дух тяжести, глухой на мой крик, навалился, борзо кромсая пустынные небеса – рана Урана! – полоня и пополняя меня далековатостью – сиречь смешивая со смерторадостной обыденностью нечто новое.

* * *

С какой нарастающей лёгкостью увлекает меня вниз яркий млечный тракт! Поначалу его брызги, будто сумасшедшей рукой артистки загодя выдавленные из раздавленной груди роженицы, лишь игольно прокалывают мрак, после исподволь прожигают плотную тьму своим желточным естеством, пропадая в ней, словно слизанные сосунком, покуда затоптанный сатир забывает аромат берёзового сока вкупе с самим свойством распознавать запахи и вкусы. Впрочем, исчезновение мерцающего молозива мне не позабыть никогда, как если бы это я прыскал галактической каплей на губы урчащему младенцу-невидимке!

По мере нарастающего заманчивого свербёжного крушения рубежей сатировой плоти сквозь рокошующие отголоски солнечного бурения планеты – хт-хт-хто-хтон-хт... – восставала властоёмкая яйцевидная бескорлупная мощь, имя которой Зло, под вуалью тугоплавких пластов



заправляющее всем во благо добродейной пустоты, жадной до наших молитв, – Зло, забирающее наземные, недавно столь ладно друг к дружке пригнанные, однако утратившие всякий смысл куски, и наконец втянувшее мои воркующие останки осточертевшей разумности. Да! Туда! Ниже! Ко злу! И вот магической магмой бурлящая матка приняла и впитала шматы моего мяса. Но вдруг, – упреждённая ябедой всеведущего Владыки, – пустилась переделывать меня, обжигая огненными быстринами Господа, ваяя существо, миру ранее неизвестное, вдвывая в него дух его прошлых странствий и тотчас милостиво исторгая из своего острога.

Вверх! Вверх! По проторённому туннелю. Вверх! Вот он! Я! Новоявленный! Обретший и память, и зачатки слуха, а с ними – хлябистое единозвучие солярного сверления, столь схожее с шаманским шамканьем суводных струй. Из подобного влажного клёкота в невинном горле зарождается первое слово младенца: «Папа!» Возвращение! Греховное! Нелегальное! Пресыщенное злом! – сдобренным молекулами берёзового сока, вдруг забродившими хмелем, – моей мздой за свободу. Сколь схожа дорога наружу с недавним погружением! Как дивна скорость, с которой я попираю принципы природы! А какими податливыми сжатиями пособляет мне подельница-планета, доводя нас обоих до вершины насильственного экстаза! И что за радость преступного проникновения!

Я вылетел из скважины пробкой, выбитой напором огненного фонтана, вмиг впитываемого перегноем, на который я и обрушился, – сразу следуя плясовому призыву, вознамерившись отдаться танцу, броситься в привычно распахнутые Божьи объятия, переносицей стукнуться в солнечное сплетение тёмного Господа моего, провяв верноподданическое «Яа-а-ау-у-у!»... Где мой рот?! О, тяжело пожатье духа обновлённой 3-з-з... емли?! – Земли! Этого



некогда изнутри златом пышущего шара! Да, моей Земли, доселе наречённой «Лёгкой», теперь к эммелии не звавшей, ставшей водой, – и на эту влагу предстояло походить всем, кто отныне волил ратоборствовать, торжествовать, обладать!

Океаном, опреснённым надпланетной спиралью, гудели кроны неведомых деревьев. Я подскочил, задыхнувшись жжёным папоротниковым пухом, простёр все руки (сколько же их?!...) к густо замешанному гулу ветвей и опять упал на гумус – тот бы, прошлый, бодро изошёл зыбью, понятливой зеленью зазывая назад в радостную смерть. Сия же почва дышала насилиу, с хрипотцой, всецело поглощённая собственным выживанием, ибо Земля иногда боится гибели, как любой из нас. Вместо бойкого удара копыт – мои ноги сплелись. И не было глаз, чтобы плакать от любви, взором ластиться к Возлюбленному Страннику моему!.. Где же он?! – обычно заполняющий меня без остатка... Но вот набежали, толкаясь и испаряя ароматные атомы Владыки, шурша чешуёй, иссекая мне ещё рыхлоранимую, впопыхах твердевшую корочку краями чего-то знакомого (учуял! листья... точно! листья плюща!), – да обжигая амритовым бальзамом там, где прежде вибрировал мой желудок. Повлекли, повлекли чрез молочно-кровавую капель, чрез увесистое шушуканье, просачивавшееся меж проказливых лобзаний. На юг!

Единственное, что оставалось неизменным, – это чёрные лучи (я насчитал их девять), по-разному и откуда-то сбоку изливающиеся из вращающихся врат коловрата на меня, принявшегося усваивать целебный свет беспокойного ночного солнца. А сквозь огненный шорох несло лёгкое дыхание четырёхпалого иноходца, втиравшего мне в опалённую спину, в сыздетства розоватый животик и нежное рыльце сатира снадобье двадцатью перстами, – ужас! Я ведь всё считал! Считал! Считал! Числами травя



сатирову душу! Вдруг по моему телу всюду стали исступлённо набухать десятки покамест не прорезавшихся очей. Словно я случайно понёс от подземного Господа, забеременев глазами! Но и, не видя, учуял я (будто пилигрим, изведавший каждую пядь суши своими ступнями, проткнул карту булавкой, играючи угодив в цель), что планета отрыгнула меня с гастрофетовой меткостью: точнёхонько в гиперборейской чащобе, где бык растерзал сатира. Роскошное кольцо рыданий вздулось, забилося в каданс со старыми странствиями Господа, но, не отыскав слёзного жёлоба, отхлынуло, впрыснув восторг страстотерпия (перескочивший запретным *salto mortale* предельный кордон Танатоса) внутрь моих несчётных, молниеносно распухших пальцев. В ответ я услышал девичий хор: «Гой! Да-а-а...» – выдох облегчения, но ещё не клич победы. Однако, несмотря на своё разноголосое подтверждённое возвращение, никак не избавиться мне от первородной жути – бессилия перечесть собственные члены, по которым, с шипом и сжимаясь, потекли, подчас вскипая, жаркие струи, – если бы сметливые врачеватели квасом кропили кровавые раны прежнего сатира. И, младенчески доверившись выкристаллизовавшейся рысце, неуклонно держащей курс против выводившего ворону ю ноту «соль» Нота, я, убаюканный свирельным гулом тёмно-синих тонов, наконец-то утратил музыкально настроенное сознание.

Очнулся я в гроте. Как бывало, когда собственный бессячий храп вырывал меня из полуденных грёз и хотелось бежать в конопчатое небо цвета, цвета... ну, ежели желаете привычных вам окрасок, хотя бы плодной поверхности плаценты людских самок. Гигантский конь ржал мне в глаз... «А-а-а! Они прорезались!» С волоокого лица, – в чьи ресницы вцепился недовызревший полумесяц гусяного пера, – считал я летопись необратимой смены рас. И назойливо разъедал пещерные полупотёмки зуд незримой



мухи. Шурк копыт... тут, подчинившись скользящей петле провидческого рефлекса, – а именно в поисках привычных перстов коннообразных (хотя уже уверенный в их исчезновении), – я поглядел на свою десницу... её не найдя-а-а! Мой взор окунулся в хрустнувшие заросли... А они оказались мной! Слудяную перегородку, скрывавшую от меня вертеп, прорвало, и голубой полдень просочился внутрь грота. Повторный приступ познавательной оторопи: вот, значит, как оно действует, утучнённое притяжение Земли, взнуздывает дух, подменяет рывок развития трусцой! Долгожданная нега наконец изрыданного угара: громогласный всхлип вослед дробни конского отступления, и сразу справа – новое судорожное ликование, трепет неведомых лоз, от которого обалдевало моё пока недопостигнутое тело. Страх схватился с любопытством, сдавшись на милость врага, – а пока они суетливо мерились силами, смолистый дух моих слёз, где чудился букет из мирты, и фиалок, и лилий, и дотоле незнакомых запахов, полонил пещеру. А каждому заурядному обонятельному оттенку с разительной ясностью соответствовал бряцающий удар, – «тюмпанон!» – зародилось вокруг жаром укутанного паха название инструмента, – будто троица слогов оказалась давней заложницей моего желудка: «Да! Да! Он – тюмпанон!». Звуковые осколки внутриземного зла опутали слёзные испарения, взрывами исхитрившись угодить в галопные отголоски, внезапно растоптанные целой ватагой, влившейся в пещеру. Гуляк было по числу пальцев на сатировых кистях... «Меж мной и ими дамбой – страх... Что это, Владыко?! Точно новая всепланетная вездесущая тяжесть залопатилась в горле препонами моему вольному вою! Вдруг! Сходно нарезанными слогами! Никчёмными! Разумно-угрюмыми! Обузой животворящему гоготу Бога! Но вот и они передо мной, девять дев, – а также не менее юное чрево, породившее их! Плодоносная плоть! Вечность,



впаянная в Эрота, корнями переплетённая с агапе!.. – откуда все эти сл... л-лова?! Бэбыбы... и-ы-ы-ы?!» С девичьих плеч скользнули кобры, ринулись ко мне – и я смешал свой крик со змеиным присвистом. В девах жила козлиная частица тёмного Господа моего – нетленность, правда, разборонённая разумом («сатир-р-р его раздер-р-ри!.. сатир м-м-мёртв...») песни, коей нерадиво подтягивало танцующее с ними животное: двуликое, четырёхное, разом запускающее пару ошуйц вглубь волнообразно расчёсанных, стянутых лютоглазыми аспидами, белых, но с карминовой косичкой кудрей.

– Ну! Давай! Погляди на себя, красавчик! – проверещало оно мне злобно (такую беззаконную кровожадность изывали в нас, сатиров, небитые волчата), дрогнув членом, с которого слетело бежевое перо, славно согнутое в дугу, – и я понял его язык, пресыщенный, будь он трижды проклят, рассудком! Прорвало ли на меня дамбу деймоса прежде, чем я разглядел истину? – помню только беспощадный груз полудня и как, заорав в воспрянувшие кобровы морды, я позволил тьме окутать все мои глаза.

Так началось моё постепенное новообретение Земли, отяжелевшей, раскольцованной, лишённой мудробуйствия Господа моего. Царствие его, конечно, оставалось нерушимым: восходя ежеутренне, Божий посредник заливал пещеру до отказа, – так что не выживало ни единой тени. Сам же конунг мира, однако, скрывался где-то там далеко, в дебрях осиротевшей планеты. А я утратил куда больше Земли, потеряв и отца и отчизну. Моя накачанная горечью грудь разучилась хохоту: сердце моё лишь улыбалось – да и было ли у меня сердце?... Я перерос сатира. Стал лозой.

И вот я начал выходить, ковыляя, обвив шеи с плечами беспрестанно танцующих дев, тоскливо оглядывая лазурь чужих небес. Но ни неукротимое девятичленное чудище, изредка бунтовавшее против своих невидимых бар,



вступая с ними в извилистые пререкания, силясь доказать что-то, поджигая все двадцать заусенистых пальцев ног, ни конь-исполин, исполненный доброты к многоочитому мигающему кусту, изгибавший иногда дугой хвост, из-под которого вываливались, тотчас расплющиваемые моими корнями, червонные катыши, – никто не мог заменить мне единственного друга. Тут, ошарашенный воспоминаниями наших бурлящих жестокой лаской забав, я выпускал шип, сталь ностальгии пронизывала меня, заставляя избавляться от очередного плющевого листа, крепко прилипшего – будто его там вытатуировали, – где некогда был лоб.

Часто мои ветви отсекались излишне понятливыми руками, знавшими обо мне, судя по их неумолимой точности, поболе меня самого. А чтобы мои молочные зубы не покусали персты садовникам, обычно столь болтливые женские губы восьмипалой бестии приникали к моим устам, переливая мне внутрь и негу, и ту своеобразную крамольную мороку, где благочестие преобладает над бунтом. Затем меня пеленали, и, туго затянутый в шероховатое полотно, я самовосстанавливался, уподобляясь Вечному Циклу недавно уничтоженного мира, со всей пещерной серьёзностью скапливал силу, обратив дозирование духа в свой наипервейший дар. Каждое обрезание наделяло тело моё гибкой мощью – той непредсказуемо-взрывчатой эластичностью, недоступной млекопитающим холопам Хроноса. Так через муку я осваивал Вечность. А она приручала меня.

Невыносимее всего оставалась неискоренимая тяжесть, и когда иная дева произносила слово «тоска», – а я начал брезгливо разбираться в трухе трезвой речи, – то, мнилось мне, говорила она о вседовлеющем грузе, заполонившем Землю. И если, ухватив чародейский осколок воспоминаний о вдохновенном смехе (щекотавшем по старинке сбоку, откуда, как правило, струился сладковатый аромат джунглей!), я силился проглотить горсть воображаемой



амриты, ибо в это мгновение я сызнава ощущал себя прежним сатиром с ненасытным желудком, то рябая разумность внезапно хлестала меня наискось, как хлыстом по глазам, приторный пот взбухал из моих пор, и, потеряв обловатый обелиск прошлого, я стонал столь витиевато, что мамка, очнувшись от своего сиплого храпа, вскакивала, теряя серпетку и преданно-осоловело посматривая куда-то поверх меня, так никогда и не разгадавшего секрета её интриганских переглядок.

И лишь когда юдольное бремя становилось вовсе невыносимым и семицветной молнией проскальзывали рудные жилы вкупе с эхом взбалтывания патоки прибоем незримого моря – то мне хотелось туда, назад, вглубь, словно уже в то, начавшее свой рабский разгон время, я чуял себя причиной обрзглости космоса: мой второродный грех сделал меня эгрегором горя грядущего Земли, осколком тиаза, ибо до моего нового появления на свет мир не знал идеального индивидуума! А засчленив ёмкую сущность Бытного, я не мог не обратиться в монстра – куст неизвестной даже мне расы, переполненный лихомудрствованием Господа, соучастника моего сверхжизненного преступления. Ужас! И, как прежде, в бытность мою сатиром, спасал меня вопль. Исполненные заботы, переходящей почти в куваду, ко мне бросались мои терпеливые няньки и, уродуя гримасами свои профили (обычно восхитительные, точно Бог вычеканил их из белого мрамора в час архитектонического припадка, свойственного под юль всякому демиургу), снова принимались отсекал мне лозы, укорачивать рукава, – причём тот запросто свирепевший четырёхрукий зверь орудовал лабрисом, – покуда не оставались лишь штабда беспомощно дрожавшие скелетные корешки, клокотавшие, однако, негой. А что за ярая боль, когда тебе разом выжимают несколько глаз! Я инстинктивно распахивал пасть, и туда, бесповоротно утягивая меня в обморок, из рога



заливали окаянное зелье, разившее толикой амриты. Мне никогда не встречалось столь вороной влаги – разве что подчас морская плёнка-буревестница походила на неё своей чернотой. А засыпая, я вперивал заморожённый взор в ропотливое двуликое чудовище, нарезавшее упругие свистящие сферы парой двуглавых же топоров, – рискуя отрубить себе одну из ног и оттого вытворяя ими нечто равнолучевое, пышущее жаром (называемое, естественно, пиррихой), там, на песке, голубом, точно отороченные снегом инистые склоны коровьих («Кор!.. Ов! Кто-о-обы-ык! Это он раздавил! Помню, вжал меня в зем-м-ме-е-е!...») пастбищ под косыми светоискусками солнца: монстр вертел лабрисами в горниле, докрасна раскалённом, нетерпимом прежним, сатировым, глазам, – моей нынешней *офтальмологической* усадле.

Каждая экзекуция делала меня более отзывчивым на разноплановые электрические вспышки, порождаемые прикосновениями дев. Обрезания одной воспитательницы звали к ещё не танцованной пляске; другая, неотвратимая, как мой полорогий убийца, с венчиком из моих листьев, наущала восхвалять Господа веско размеренной прозой, заощрённой рифами рифм; третья насыщала звездоведением, удовольствием тернистым и ступенчатым, – всё это достигалось пронзительными мученическими разрядами, обезболенными прокладкой обольстительной неги, – ибо страдание дозревания сдабривалось остервенелой жаждой пенетрации. Да! Проникновение внутрь того фавноподобного люда, с коим меня заочно знакомили руки другой девы, пока её лезвие нащупывало эрогенные зоны младенца-куста.

Всякий раз, очнувшись от наркоза, я ощущал себя отведавшим запретной отравы и ещё чётче рассмотревшим то, что вам пристало видеть словно сквозь тусклое стекло: увечная лоза высасывала из налагаемых, будто божий



оброк, грёз потаённую силу, благословлённую Ярилой-творцом, – но внезапно, по его же недосмотру придавленную спудом разума, пропитанного пошлостью Потопа. Я словно выдираю у Земли её от самой себя сокрытые клады, насыщаясь ими, и немедля непредумышленно обогащаю обобранную планету. Взором разбиваю я материю на атомы, – нарезая их на янтарные частицы, – подмечаю над няньками трепетный нимб, цветом, формой да давлением сообщавший мне сокровенное. И всё это сразу, стихийно – будто кривой рот новорождённого, сожалея о вкусе амниотического рая, искал материнский сосок. Так приучался я к жречествованию, дичась, приноравливался к животному инстинкту первосвященника. Постигая всё сам. Телом.

Да и любые вопросы нянькам были бесполезны: вместо разъяснений девы лишь мелодично подвывали друг другу. Смысл их слов с трудом продирался сквозь плотный плетень привычной плясовой песни. Но как полновесен был ритм! Как выразительно содрогалась хоровая бескопытная стена! Поэтому, сколь иная мамка ни ссылалась на забывчивость, мол, пришла худая черед, зашибло память... я молниеносно схватывал истину, и мгновенно вкруг моих глаз вздувались крупные капли сахаристых слёз – предтечи будущих таинств. Приторный запах вдруг внедрялся в кору – так что весь мой ствол пронизывал порочный трепет, прочно закреплявшийся в древесных волокнах. И, исполняясь похотливой лихорадки, я выжидал (как зверёныш, зелот ловческого рефлекса, устроившись в засаде), пока сок свернётся, станет различимой на ощупь зявзью и мне наконец позволят выносить зреющие на мне загадочные плоды. Уже тогда я учуял: подлинный жрец – вечно геройствующая мать!

И вот наконец настала моя ночь. Пора меж волком и его одомашненным отродьем! Рождество! Брюхоногая исследовательница защекотала мой глаз рожками, качнула



гелиотроповой чалмой – и взмыла комариная эскадра, звереющая от доступности моих свежих стигматов, пока я в последний раз, с зычным рёвом изо всех ртов – «Ма-а-аи-и-и-а-а-а!» – раздирал повязки, гоня сон, будто мой Бог пожирал меня, круша зубами ветви, да нахваливал. Никогда не случилось мне очнуться в такое суперлуние! Громоздкая спутница Земли стыдливо уставилась прямо во все мои отверстые зеницы, блаженствуя посреди безупречно круглого хоровода (у-у-у! утончённейший танцмейстер Уран!) облачков в алеющих буклях. Рядом с Луной сверкала оранжевая звезда, под ней же тускнела карликовая коралловая крупинка – обе новые, незнамо откуда взявшиеся. И странно отливали щит с астральным копьём, подвешенные одесную от небесной кифары, с так мощно натянутыми сухожилиями, что фантомной мукой взвыли мои древесные лодыжки, пока лунные лучи налипали на мои веки, нещадно склеивали ресницы. Восхитительный панический разряд выстрелил в меня – так что впервые затопорщился молодой мох, глянцевого глядящего проросший вдоль моего туловища незадолго до последней попытки, – и тотчас отхлынул, лишь только, продрав глаза, я различил действительно разбудившего меня: у пещерной стены в серебристой кольчуге, окружённый сейчас молочно-голубоглазыми кобрами, около куста бирючины с драчными брьючинами на голеньях конь, лязгая розоватым рядом зубов, смачно поедая ель, френетически шевелившую некогда подземными отростками (одновременно запальчиво посыпая ошалевший клубок змей бурными комьями глины), будто дерево молило, правда, без особой надежды, о пощаде. Конь поглядел на меня пристально, облизнувшись, распознал и задорно закивал, точно попримерявшись к моим лозам, вспомнил о табу. А ель в кровавых ссадинах, неожиданно обуянная страстью пациентской кооперативности с палачом, сама полезла в пасть – иглы



её словно взрывались, прыская, уминаемые чавкающим, теперь щедро крашенным зеленью частоколом. Я приклеился к липкому конскому взору (это он в сей же миг и навсегда заразил мои вежды проникновенной догадливостью), срикошетившему вниз, к моим первородным корням, занявшимся самостийным, самозабвенным ростом. И каждый из них, – часть от части моей! – точно кичась кильчеванием, покрывался пробковой бронёй, нацеливался в землю, пусть отяжелевшую, но разрыхлившую свои до поры запрятанные поры. Конь всё крошил хвойные грозди, перемигивая от голода, тем словно наускивал меня на некий проступок. И, вняв его издевательскому призыву, я сделал первый шаг, выдрав уже породнившиеся с почвой росяные корни, молниеносно ошалев от многоцветной, с преобладанием алого, боли, – словно уже политый мёдом ожог вдруг рассекли ледяным лезвием, – однако мой осколок, оторванный, но оттого не менее упорно волящий жизни, продолжал истошное, украдкой затухающее существование. Так, жёсткой иерархией муки, изогнутой многоцветными плечиками арбалета, я сразу приохотился к участи межчеловеческого ходебщика судеб, пока опять не подчинился воле превращений – бегать. Однако только я начал отбиваться от будущего, как с меня слетела путешествовавшая по мне улитка, хрустнула спираль её раковины – и вот я стряхиваю на бинты её ребристые скорлупки, а блаженный наплыв слизистых спондейных воспоминаний водоворотом всасывается внутрь то ли моей души, то ли всей планеты. Не до границ мне сейчас! Ведь я высматривал цель! – огромную, вертикально воткнутую ниже по кособогу чешуйчатую булаву. Молниеносно ошипанная взором, она оказалась пальмой хамеропс с начисто отсечёнными веерами – и меня повлекло к страдалице, точно нас с ней истерзали для одной, незримо связанной с ритуальным возрождением Земли цели.



О! Как я кренился при ходьбе! Словно планета не только отучнела – из неё напрочь вышибло непрочную ось! И я неуклюже расставлял росяные, одновременно яростно вытягивающиеся корни, подчас ваяясь набок, привыкая к лукавству нынешнего, рахитического, притяжения Земли и стараясь не съехать по пологому склону горы, приютившей мои ясли. А пресыщаясь этими ощущениями, я поддавался некоей ласковой, доселе неведомой угрозе – будто я вплавлялся в мякоть неизвестной мне ягоды, а та, в свою очередь, набухала из плоти моей. И дико ломило лозы, пока я усваивал чуждые чувства, презирая себя за богомерзкий (гнусный единственному лично знакомому мне Господу!) раскол. Даже горьковатый, источаемый мною запах (излейся такой с дождём – проклянуты грибы да существа, схожие со мной) – и тот наслаивался поверх терпкой приторности, неизбывной, как теперь искривлённый хребет мира, сводившего меня с подчас прорывающегося ума. Но чем отчаяннее я противился новой среде, тем могущественнее просачивалась она через каждый рубец, липла к коре. И не было от неё избавления!

Ещё одно чудо! – я явственно различал томление гранёноглавой пальмы, ясно осознавая её мужественную истому, жажду слияния с женственными сородичами, чей гарем стойко, но понапрасну держался в трёх сатиновых прыжках от неё. Листья их высохли, коричневая мне сквозь ночь своими ухоженными коготками, и только новорождённая поросль топорщилась нежными стрелами. Как притягательна пальмова любовь с первого взгляда! Но сколь неотёсанна была их зависть ко мне – хромомногоногому кусту! Случай, вельможась, порешил за них, рассадив их порознь, – переполнил их вязкой ревностью крепостных, отяжелявшей мой и без того робкий марш!

Всё ближе к оврагу, залитому луной, кругловидной, как истина. Свет её алеет (или это разбухал мой божественный



недуг, рдея на взбудораженный мною мир?!), перемешиваясь с напористым, каким-то даже деловитым, но теперь бесцельно текущим временем. А Вечность, моя подруга, громко захлёбывалась во временном потоке, над которым некогда я мог скользнуть дважды, трижды, несчётное количество раз, – сколько б он ни кишел скользкими дельфинами! И если кто-то ещё составлял безупречный согладательский дуэт, так это были мы с Владыкой, познавшим, подобно мне, второе рождение. Ведь Господь – художник, а невзгоды наши – его краски. Только вот не каждый удостоен звания Божественной кисти!

Наконец предстали они передо мной. Кусками! Головы, ступни, пирамидой сложенные ноги – соберём же их в тела, так схожие с отнятым у меня. Давайте-ка, пять ног, полдюжины рук, пара голов... развалилось составленное мною чудище! Попробуем: восемь ног с троицей туловищ и та, лобастая, голова. Вновь рассыпалась злополучная тварь, не протянув и мгновения, а я, вяло противясь притяжению, покатился наземь, пока собранные мною ломти расплзались по местам. Тут я вскинул глаза – точно запрыгнул на быка – и галопом, галопом, галопом! Глядя прямо в рубиновый диск – ему-то я мог смотреть в четыре карих глаза, – как недавно облапошенной дурынде-смерти. И опять медленное вертикальное восстановление кособокого мира, разглядывание щепок с каплями моей пасоки – и вырвались из памяти, как расстреленный волк, острые капельки израненного березняка, сквозь который глухим галопом, ни на йоту не сбиваясь с такта, катился кат-бык. Тут ухнул небосвод. Господь шарахнул Совилом, расколовши созвездие Инглии на Тельца с Близнецами, – так и застывшими навеки, – и молниеносно куски мяса в овраге соединились, ставши затем столь набившими оскомину людьми. «Один-н-н, два-тр-р-р... че-четыре че-че-человека!» Сей же миг я уловил их тление. Нет, не то некогда



источаемое сверкающими трупами крабов посреди своего амритового некрополя, когда, шатаясь от озорного гогота, выскакивали мы – легчайшие! – на наше благоуханное лукоморье, кидая коньки в песок. Да! – прощальный плач дельфинов. И наши ответные слёзы. Прорыв – вспомнил! Не-е... эти – живые! – гнили с головы. Но не плотью, а духом, обескровленным охамевшим от всевластия мозгом. Гормональные дегенераты! И эти мутанты показались мне ещё лучшими из всего стада людского: в строении их черепов чётко просматривалась соколо-высоколобая доминанта – залог нацеленной к звёздам повадки, ручаюсь, унаследованной от нас, сатиров. Долго же я спал!

Вся четвёрка была недвижима, казалось, бездыханна – лишь змеи множили вокруг их рук свои очаровательные кольца. Внезапно старейший и, видать, самый важный из них вздрогнул, раздвинул ноги, угодив пятками в родник, при этом показав на ступне толстенный, с копыто двухлетнего козла, слой засохшей глины, скупно посыпавшейся в розоватую струю. Избитый панцирь титанической черепахи перевернулся, закачался, зеленясь, звеня тремя тетивами, и, словно ответствуя мелодии со смерчем стариковских грёз, добившихся яркого аккомпанемента двух десятков (н-н-нет... всего семнадцати!) его до крови израненных пальцев (тюмпанон, «Он-он! – пробудивший меня к повторной жизни», валялся тут же на боку, броско блестя бубенцами), мои корни впились в тропу. Чудный контакт с горой! – я как бы пронзил её вулканические секреты, моментально распределив их по рангам с иерархической жёсткостью тирана да выдрав из клубка почвенных мистерий наиважнейшую: мой Бог ступал по ней – «Н-не... мой Бог бежал по ней!» – учуял я, трепеща обрубками, погружаясь всё глубже, глубже, глубже в косогор. И я уже различал древние отпечатки цыпочек Господа моего (следы души чёрного танцующего охотника – этой пляшущей,



полной плоти и мглы сферы!), одновременно лакомясь деликатесами знаний о поверхности планеты, упущенными за наземные века моей смерти.

Тут стариковский колпак съехал на затылок, обнажив исполинские ослиные уши, тотчас поворотившиеся ко мне, столкнувши головной убор в воду, – ударом прекратив моё познавательное наслаждение, ибо помимо моей воли корни сами вырвались наружу, оставив горе в заложники клочки моего тела, исполненные мятежного страдания, ностальгии по единству со мной, цельности уже невозможной, ведь, предчувствуя собственную метаморфозу, корни бодро обратились к радостному разложению. И я пронзительно ощутил их предательский восторг. И я немедленно простил их. И я полюбил гору, ставши её частью. А старик залопотал, в себя не приходя, но ещё пуще прядая гигантскими ушами, – троицу лежебок, однако, не пробудив, но породив высоко воспрянувший раскат змеиного любопытства. Слова старика устремлялись в меня как снежная буря, когда вьюга внезапно накрывала святейшую свиту веселейшего Велеса где-то на экваторе, – а я мчался сквозь слепящую метель, не вопрошая Господа о пути, ибо, обезумев, я становился и Богом, и даже его кортежем, точно вплавлялся в каждого из нашего братства! Тогда мы были той самой горячечной тёмной материей, державно сочащейся сквозь *Веселенную!*.. «Загрей!» – пронзительно гикнул, или нет, скрипнул я (как на беспричинно грянувшем морозе – опять этот молниевый трепет сверхжизненного воспоминания! – гулко стонет, словно лопается тети-ва, душу отдавшая стреле, заиндевелый, выгнутый саблей сабаль), и внезапно вся четвёрка людей подскочила, будто гора им отвесила тумака, да загорланила в унисон, распахнув звёздам свои бестолковые глаза, а змеи бросились ко мне, быстро обвили обрубки. И странное дело: рептилии не повалили меня, а, переняв мою акробатическую заботу



танатоходца, расположились в строгом порядке – даже раскачивались, бодро блюда одинаковый завораживающий порывистый ритм. Колдовская ядовитая тяжесть, которая не гнетёт, а напротив – довесок устойчивости! Вдруг старая гюрза впрыснула свою злобу в наисочнейший из моих срезов – ах, этот укол жала, переиначивший меня в артиста! – и покамест яд просачивался мне под кору, все мои глаза подчинялись единой системе. Новый торнадо трансформации! Установление тотального кругового обзора, – уже физически неспособного упустить малейшую деталь! – так капля оливкового масла, падая на шерсть, принимается поглощать пространство, и нет спасения от безжалостного роста кольца! А потому я тотчас приметил отряд пещерных кобр, спешивших на подмогу моим воспитателям, не упустил и сродство мутной голубизны их глаз с оттенком недавно обновлённой кожи, – художничкой волей сразу связав цвет змей с патетической луной в невиданных пунцовых оборках. Язва мои незажившие раны, гады заперли в тесный круг мой ствол, наперебой тёрлись о него, тем коронуя свою линьку и усеивая мне пятку свежими выползками. Я отбивался от них моими лозами, но вялое сопротивление лишь раззадорило рептилий, и яд полился в меня с удвоенной силой. Каждый укус будто отбрасывал меня назад, в то квазиневесомое счастье, не сопряжённое с унижительным сознанием нынешнего настырного тяготения – неодолимого, вездесущего, ведь, несмотря на истязания, я противился навязываемому превосходству планеты, моей возлюбленной, которую я, значит, дерзко почитал равной себе. Моё тело волило взаимности Земли. Зверски! Пальмовая палица кинулась к подругам, неуклюже поднимая корни, – и вот они уже вместе! Восхищённый, я презрел человеческую четвёрку, сейчас заражённую ораторской страстью к малиновым облакам: люди точно шантажировали луну, а старик



в диалектическом раже свирепо прядал изрядно запылёнными ушами. Одурманенный токсином, я переполнился весельем. Будто близился Бог! Диск цвета хвойного мёда враз надвинулся на луну. Волна радости ударила в меня и продолжала биться, перехлёстывая через край, пока на голубых глазах аспидов рукава мои вытянулись, заострились тотчас раскрывшимися листовыми почками, цветы молниеносно распустились, сразу осыпав змеинные чехлы, а на небе чёрный жёрнов развернул безудержную всесветную агрессию, подчинив себе и меня: яд рептилий, словно вскипев внутри штамба, ринулся, разрывая дерево, наружу, набухая завязью. Весь я изошёл крупными горошинами, удлинившимися, как пальцы ног вертепных певуний (тяжесть их кордака на моих ягодах! Жом!.. Ах! Да, это грядущее! Я вижу его! Рефреном к танцевальному ритму ещё будет слышаться понурый цокот ослиных копыт, хрупким куполком возносящийся к взопревшим небесам...), грозди набрякли, и кобры с гюрзами принялись давить мои скоро светлеющие плоды своими кольцами. И вот, свихнувшись от бурлящего во мне яда, я кинулся к пещере. И аспиды, вцепившись в меня, разжевались, будто рубища будущих жриц Господа моего, подчас падая с ягодами, намертво зажатými корявыми клыками, – даже полуоглушённые, змеи упрямо накачивали куски моего тела зельем ночной метаморфозы. И, впервые распалённый бегом в обличье куста, я вдруг постиг, как простоволосая трава заражает меня запахом Божьих следов, впитывал, переиначенный шквалом ядовитой ярости, пыль его подошв, века назад проплясавших вверх, к отрогам, сейчас робко заливаемым сильно разбавленным пурпуром. И, несясь, теряя самых ушлых змей, гогоча изо всех ртов, я чувал, как поиск моего бешеного Господа да страсть превращения – бесконечная, ненасытная! – становились смыслом жизни беснованного бражника, наловчившегося скакать на своих пяточных



корнях, – мгновенно отрастающих, сколько ты их ни отрубай!

Сызнова я был вне себя! – и бежал, притягиваемый мерцающим Ничем, подпрыгивая, даже силясь пролететь пару ярдов, скрывая ковчег (нет, кортеж!) страдания завесой хмеля. Помню как сейчас, у входа в пещеру меня поджидали все девять дев, а наконец освобождённая земной тенью Луна, размыв затейливое облачное кольцо, опять опечатала выпуклые лбы песенниц своим обычным розоватым тавром. Именно здесь я испытал стыд наготы, будто меня, глумясь, срамили неспособностью прикрыться пожухлыми, с хрустом опадавшими листьями. Я повалился в четверорукие объятия подобострастного монстра, смеявшегося одним лицом, горевавшего другим. Он торжественно возложил меня на обрывки бинтов, озеленённых хвоей, рядом с нововозведённым капищем, терпко пахнувшим конём, и, погружаясь в грёзы пережитых преображений, я ощутил полоснувшее меня лезвие: набежавшие девы собирали в плетённые из моих засохших мёртвых членов корзины первый урожай моих гроздей, а я, уже предвидя их будущее, завещал свою кровь... Кому бы вы думали? Ну какому ещё Богу-освободителю я мог позволить эдакое вампирство?!

* * *

Жаркой летней ночью няньки выпроводили меня из пещеры, чьи закоулки с сотней расщелин так и остались для меня неизвестными. Возможно, именно там скрывался согладатай, которого я тщетно искал снаружи. Девы сами снарядили процессию и торжественно, по-европейски, парами двинулись во тьму, запросто пронзаемую моим единственным глазом, умудрённым пытками да рыданием: мой дядька собственноручно спеленал меня, нарочито оставив выглядывать наружу самое жестокое из моих очей. Всматриваясь во мрак, я с виртуозной точностью угадывал,



где пустили корни да дали приплод мои отсечённые члены, ощущал, где дают их ягоды и как плоть от плоти моей прыскает кровью, – точно иглами прокалывали глобус, а я был этим рельефным шаром, уютно воспроизводившим всякую вспышку муки винограда, некогда росшего на планете. Ибо отселе я знал и имя своё!

Сорок суток вытанцовывала наша процессия на север, руководствуясь небесным Виночерпием. Конь гарцевал привычной иноходью, а предводительница нянек, отгрозив витые ярусы гимнодии и тотчас поправ законы архитектоники, размежёвывала журчание шелковистого (да, мне уже приходилось расплетать, находя их на тутовых листьях, розоватые коконы!) контральто ударами по гриве всех семи когтей своей десницы. Четыре одинаковые, как Роком связанные гаммы следовали одна за другой. И каждое прикосновение к космам роговой пластинки порождало пронзительный аккорд, расплавлявшийся в ночи, по-своему преображавший её и меня, – ибо инстинктивно я тоже пропитывался сей музической вибрацией, когда она откатывала назад, валом, ладно подштрихованная тьмой. А под простынями – что за буйное кильчевание! Но главное – какая чудная эволюция чувств, дотоле взрезавших мир вертикально, будто ахнувшая мотыга – землю, а уже там, в гумусе, вклинивавшаяся до самой секретной сути, под прямым углом. «Су-асти! – всеми устами истово бормотал я тогда из-под пелёнок, безрассудно, словно захлёбываясь солнцем, закармливавшим меня своими медовыми звуками. – Сву! Су-у-у-свасти!» Сдвоенный рычаг мудрости изгибался многоцветным горбом и, напоследок кругловидно замкнувшись, катился, не ожидая, пока его подтолкнут. Так превращался я в кладезь вселенского знания: слитый воедино демон, дерево и сатир, грезящий о потерянной Земле, уже тогда догадывавшийся, кому быть её господином и избавителем. И даже мой слог – мой сложноспиральный



стих становления, молнией заводивший хоровод тёмных образов с неведомой анатомией, но сродни тем, что некогда пробудили *Веселенную*, – всего лишь один из взбалмошных порывов круговой агрессии, грозно вызревавшей под простынёй, пропитанной моим медвяным потом, пока мы расставались с Азией. Однако сколь тяжело и трудно тогда развивался мой гений: я как бы выжимал отяжелевшую внутри меня кисть, отрывая жмых, и тотчас втискивал в себя следующую гроздь, охваченную ужасом замкнутого пространства, – настойчиво выбирал душу на вырост!

Наконец! Меня вынесли на отлогий берег недавно переименованного материка. Девы остановились посреди вытоптанного Лугом луга, – тамошний чернозём тоже испарял аромат ступней моего Господа. Я вперил своё единственное око в Луну с парой её ложных сестёр: параселена слабо синела, киша селеновыми душами, а вся троица, запертая в перисто-слоёном садке, заговорщицки выжидала мистерий – мой пяточный корень, почуявши их рельефное нетерпение, набрякнул. Как он изнывал от жажды проникновения! Пелёнки упали с меня по мановению конского копыта. Девы вдруг преобразились, разодрали свои пурпурные, ониксами вышитые туники, бросились в неведомый доселе пляс – даже не пляс, а дикий, ломающий само представление о танце вихрь. И что ни попадалось им под руку, уничтожалось нещадно, как очумевшими от схваток роженицами. Они будто вторили самому древнему дифирамбу демиурга, а клёны с копной боярышника ближайшего байрачного леса валились ниц, прямо на склоны балок, забывая верхушками о корнях, простирали ко мне ветви – обрушивались, что волны, за рядом ряд... ещё... ещё... Я изловчился и, прорвав дёрн, погрузился в почву, впился в грунт. Молниеносно подскочил, посылая опадающие лепестки ветрениц чернозёмом, и пустился вприсядку, всякий раз сызнова пробивая травяной каркас, впрыскивая



глубоко в гумус своё особое семя, сразу порождая шеренги детей. Те, тотчас расцветая, оголтело перенимали смерчевый озноб – однако, неотступно держа строй, устремлялись за мной, скакавшим тропой ложных лун. А из-за них ночное Солнце – первородный, профану незримый царь-Гелиос со ступней больше Пелопоннеса – управляло моей бешеной пляской, будто каждая моя ветвь, каждый корень были туго оплетены его гибкими лучами. Его, Всевышнего, как всегда, во мраке искал мой взор – вакхическая астрономия! Грозди набухали хулой духу тяжести, закрепостившему планету, а Европа (ибо это была она!) ныла недрами по затаившемуся творцу. И весь неладно спаянный континент мешал стон с нашим гопаком – как только звук может обвивать пирриху, – прося перевоплощения.

Под утро я очнулся, прочно посаженный в склон, – лоно земли крепко удерживало меня сладостной хваткой. Ниже изошли гроздями тесные колонны моих детей, а дальше, сколько хватало сотни глаз, испещривших ствол с лозами – лазурная раковина залива, рассечённая армадой блаженных островов. И циклопический диск, багряно воцарившись в небе, раскалял моё святое семейство.

Няньки мои пропали. Копыта взборонили косу на север, и во всяком следе алел осадок моей крови: перед расставанием конь изрядно подавил молодые ягоды. Элегия разлуки, запечатлённая тайнописью рысцы до очередного прилива! Обок же со стезей, прошитой ровными стежками стоп, бежали, плавно отклоняясь к дюнам, оттиски, простому охотнику непонятные, – будто здесь прокрался разведзвод молодых дубков! Лишь вдалеке валялся ворох ветвей гребенщика со своими розоватыми соцветиями и чёрными плодами других кустов, выдавая утреннюю утеху соседского бога. Серые от песка овцы уплетали улики демонского беззакония. Одна из пособниц преступления внезапно заплясала, опрокинулась набок, и из неё упорно



полез, как громадная атрофированная лапа льва, молчаливый смоляной ягнёнок. Матка взвыла от ужаса, но отара только теснее сгрудилась вокруг тамариксовой трапезы, сопровождая окот товарки полновесным блеянием. А над маревом, утянувшим моих воспитателей, трепетала нота «си», разлитая до геликтитового из-за брызнувших слёз горизонта. Я сиганул прочь из грунта, бросился вдоль моря, взрывая крупнозернистые бразды иноходью (миметический приступ ускорения, порождённый разлукой с конём!) и уповая, будто увлекаю за собой свору своих виноградных сородичей. Опять разочарование! Отпрыски мои – а ведь отцами их были Гелиос да я – крепко сидели в земле. Да, я чуял благоухание их смолы, натужную дрожь ребяческих, но уже кряжистых штамбов, нанутревших Дионисом. Но горе! – корни поработили танцоров вчерашней ночи, среди гроздевых рядов прыгал я... Одиночка! Только тут я познал ужас уникальности: дети мои телом не вышли для пляски. Безногие, безглазые, безустые! И, несмотря на свою храбрость, пребудут они таковыми до последнего пришествия Господа моего! – снова этот вероломный дротик прозрения, яро разгонявшего эволюцию, мгновенно затягивавшую рану, засоряя, а после стирая само воспоминание о ней!.. И лишь исполинская тетива печальной нотой «си» вторила моему плачу: выпустила заряд, теперь наслаждаясь и делом, и словом своим; оба слоновой костью с лунным эбеном сработанные конца то ли лука, то ли лиры сияли на солнце (как только может сверкать противоборство белого чёрному); а стрела летела в цель!.. – такую вот батальную панораму дорисовала мне мука, пока каверзная кручина обрушивалась на звуковую химеру, неряшливо сметая её.

* * *

Я бросился бежать. На восток, вдоль моря. Растопырив все ветви солнцу, приветливо затоплявшему влагалище



всякого листа, а затем растекавшемуся глубже, по моей ксилеме. Как желанен и ритмичен этот напор иноходи куста, сейчас возомнившего свои корни двумя парами копыт! – и что за дикая пытка – эта въедающаяся в луб идея, которой нельзя поделиться: ни одно существо планеты не чувствует подобно мне, не схватывает, не переваривает в ощутимый шквал излучений каждое волеизъявление Господа. А потому скакал за Создателем я, Сверхсампо – многоногий рог изобилия, полагаясь исключительно на нюх да голоса гимн одиночества «К Загрею». Молитва разноимённому Богу от не менее полиморфного жреца. Вот пересказ ритмического псалма с допотопного на нынешний русский:

Давай, любовь моя, планета,
Взрыдай о Сыне, пропляши
Сквозь сочный мрак своей души
До бледнокожего рассвета.
И волглый иволог напев
Зарю омывает в одночасье
Багрянцем рудным. Алый зев
Зевеса блещет новой расе,

Что нарождается, как хмель,
И сорубежными грядами
Из чрева Терры прёт: «М-м-мы с-с-сами!
Нам Митра – Бог, нам кровь – купель!»

Вакх, слыша мою литургию, словно подманивал меня из Азии, одновременно утекая из этого обрюзгшего после перекроя Земли придатка Европы. И я нёсся туда безо всякой надежды, сознавая бесполезность бега да сакрализуя материк своим четырёхлапым пожинанием пространства. Бессмысленность вечного возвращения к беспрестанно ускользающему Господу – что может стать славнее эдакого



вдохновенного неразумия?! И я принялся плодить подобных себе по миру.

Помню, оплетал я руками ольхи, стонавшие под январскими звёздами, проникал в их серую кору – резко отпрыгивал, и каждый из моих оторванных членов впивался в дерево и землю, сразу вступая со старым стволом в битву за соки, обретая бездвижие, незалежность. Помню, планета заплывала жиром, травясь порождённым ею же человеком, и я выл от праведного бешенства, ища противоядия от заразы людского здравомыслия, сам постепенно заболевая духом его тяжести. Помню, замедляя иноходь у виноградных шеренг, я выделял меж ошарашенных правнуков самые магические коленца, отчаянно силясь утянуть их за собой. В скачку! По горам Евразии! Но они только тупо трясли гниющими гроздьями, и я, посрамлённый, уносился в рое обескураженных ос, неловко ступая на замешкавшуюся гадюку. Однажды я даже изловчился увлечь рощицу малоопытных елей: свежая поросль, зеленея сквозь иней, нетерпеливо встрепенулась и против всякого чаяния устремилась вслед за мной, сыпля первыми своими шишками, но мало-помалу хвойный тiaz увяз, опять утянутый дёрном, навеки врос в грунт. Не удались! Ну что ж...

Постепенно я уподобился вирусу Земли – человеку: обрюзг и обмяк. Божественный восторг показался мне чуждым – так можно погрязнуть в гранулах разума! – и я занял безропотно место в ряду с пугливо потеснившимися лозами, запустил корни в кремнистый грунт – сделался полезным, отныне не гнушаясь, когда двуногие лиходеи лапали мои лозы, обрезали их, давили, смешивали мою кровь с вытяжкой вялых душ моих отпрысков да с водой. Тщеславием моего ожиревшего естества стала целесообразность: зная превосходство своих соков, я рычагом собственной воли переиначивал их, дабы прийтись по вкусу падким до пафосного пьянства разумникам, откровенно презиравшим



моего Господа. Даже их незыблемая вера рассказням самой подлой секты жизнененавистников не могла отвратить меня от ежеосеннего донорского долга – пусть сквозь сонное отупение покладистого служаки внезапно пробивались восторженные воспоминания: Загрей вдруг громахал, попирая Арктику кортежем!.. И снова расчленился повседневною, установленной чередой гипертиреоидных виноторговцев, моими волосатохребетными владельцами, из века в век разменивающими космос на числа, а уж их разводя пошлым диалектом цифр – койне коэнов. Насилуя родительницу ради их барышей, пробивал я ударом копыта каркас Земелы, высасывая пяточными корнями недосигаемую прочим лозам глубинную снедь для моих ягод. А их жуткая гибель под пепельными ступнями танцующих негров оставалась напрасной племени будущих человеческих гениев – покамест не народившихся от жрецов с широко-тазыми бассаридами, выжидаемых охотничьей ипостасью моего Господа, засевшего в своей иранской засеке и плетущего замысловатую сеть со своей презрительной азиатской улыбкой: кровью моего винограда лишь подслащивали пойло исправно тупеющих невольников со всё более шарообразными черепами. Незаметно мои грозди стали отдавать аристократическим тлением арманьяка, а плодовые мухи, гулко глумясь над моим бездвижем, тучами роились вокруг моих ягод, отражаясь в проступавшей на них росе, – и мне казалось неумоготу отмахнуться от них, словно это я был прибит там, средь нагих, отведавших кнута ночных бродяг, распятых вдоль ближнего шляха, пьяных от красной жгучей боли и не менее багровой жажды жизни. Я начал забывать своего любимого Бога! – и уже с трудом отличал воспоминания от грёз непрерывного полусна да фантазий потрезвей, свивших гнездо в гниющих трещинах моего подземного штамба: «Правда ли, что мне пришлось водить дружбу с гремящим мироздателем, моим



отцом, а после переродиться в прыгающую по планете лозу? И впрямь, способен ли куст бегать?! Стоит поглядеть вокруг, чтобы убедиться в противном!» – и я, уныло каясь, рассматривал ровнёхонько рассаженные упрёки своему еретическому прошлому.

Так чередовались долгие чёрные зимы. Скука. Невосполнимость. Отчаяние. Даже бездарная цикличность прозябания моих послушливых, как стрелы, детей (а что может быть ужаснее мук твоего ребёнка?!) – и та не могла заставить меня вырваться из ледяного гумуса, опять рискнуть слиянием с лианами, оросить их парой капель родственного размороженного сострадания. Я стал одним из миллионов. И одна лишь мысль покинуть строй казалась мне кошунством.

Тогда-то, в вихре чудовищной вьюги, и грянуло освобождение. Сквозь бурю я разобрал исконнейший ритм Земли, приглушённый тяжестью снежной груды, давившей мне на веки. «Что?.. Что означает это... старое?» – только и просипел я полоумно всеми отвыкшими от голоса ртами (где разом прорвались колоссальные вепревы клыки!), глотая хлопья снега, несущиеся прямёхонько с севера. Оттуда затаённо, как тишайшие шаги набирающей скорость пантеры, наваливался дифирамб, уже выпуская когти, уже крепчая, уже облекаясь в плоть. Да, во мраке вьюги мой Бог шёл на юг! Протаптывая себе тропу средь прошлогодних гроздей моих детей, давя их самих, одинаково согнутых необоримым Бореем, и виноградные щепки летели, бесследно смешиваясь с пургой. «Вижу! Вот оа-а-ан-н-н! Без свиты. Один!» – заорал я, скидывая все три митры оледенелого снега и простирая к Господу ветви. Теперь я купался в ямбическом диметре, заглушавшем ненастье, порабощая его, заставляя греметь своим гимническим азартом. Никогда мне не приходилось встречать моего Бога таким – зелёно-ликим, одноглазым, с посохом и под ветхой остроконачной



широкополой шляпой! Отныне он нёс лишь смерть и пытки – но только не мне, своему возлюбленному сыну, бросившемуся к нему, на свободу, оставив промёрзшему насту добрую половину своих корней в комьях взорванной земли. Ведь я опять бежал! Наперекор ветру, ломая хребты не смевших распрямиться отпрысков, протягивая к нему ветви и вопя без перерыва: «Вот оа-а-ан-н-н! Вот оа-а-ан-н-н! Вот оа-а-ан-н-н!...» Как я жаждал его божественной ласки, как дико хотел, чтобы он прижал меня к себе, попробовал бы моих ягод, нежно провёл бы ладонью по моим очам, плачущим тотчас леденеющими слезами. И Господь распахнул мне свои гигантские объятия, жаркими сухими губами расцеловал выпученные глаза истрескавшегося штамба, вырвал верхнюю гроздь и выжал себе в рот мои плоды, расхохотавшись от энологического восторга, – здесь раздался тонкий гулкий звук, будто лопнула донельзя натянутая струна, и дифирамб переборол бурю. Солнце стегануло наискось склон, вдруг запевший каплей, а вверх по нетленным тисовым крестам, сквозь плесенный каракуль жёлтых рёбер покаранных преступников зазмеились, сверкая словно перед боем надраенными латами, листья плюща: *Je te reprends donc sous mon ombrage, ô fils de la Terre et de moi!* – прошептал он, молниеносно переключая говор этой страны, точно впитывая его из почвы да тотчас наделяя ритмом. – *Et je veux interroger tes profondes racines enfin sorties pour se nourrir à ma lumière.* Подобно недотрогам орхидеям, обожавшим светило, я подставил лучам корни и всё не мог наглядеться на Господа, откусывавшего по виноградине, раздавливая её языком о нёбо, – причём я ощущал ток моего сока через божественный пищевод, чуял впитывание его привыкшим к амрите да нектару желудком столь же ясно, словно зуд по всей ноге, как тогда, в нашей с ним прежней жизни, перстами лёгкими, как быть, Бог тербил сатиново копытце! Громадная



радуга заполонила полнеба, а по ней опять гарцевал са-тиров кортеж, ввысь, к Богу-Солнцу, чья одноглазая ипо-стась – отец мой! – смаковала мои грозди, выжимая их в свою пасть. Ах, зубы у него – как жемчуга... И я пронзи-тельно прочувствовал всю суть этого жестокого мира, от-давшего свою шкурку любви, навечно покорённой коро-левскому случаю – блюстителю отбора особей и рас. «Мит! Р-р-ра-а-а!» – возопил я, щёлкнув зубами, прыгнул ко Все-вышнему, но его и след простыл. Лишь на малахитовой, дико разросшейся траве красовалась ладная пирамидка из сморщенных кожиц моих ягод. Нет – вспомнил! Ещё весь виноградник испещрили тогда отпечатки копытец, будто, пока я любезничал с Предвечным, вокруг резвились коз-лята-невидимки.

Эта эпифания уверила меня в моей нерушимой связи с Богом, в бесконечности Господних превращений, а следо-вательно, и в неизбежности собственных болей да metabo-лий: и я уподобился явившемуся мне ночному солнцу, за-разился его взрывоубийственными добродетелями – иными словами, стал его величайшим волхвом.

Преступление! Да, преступление против человечества – вот изначальная суть всякого подлинного жречества! Ибо только оно совершенствует людской род! С тех пор наи-разнообразнейшее полуночное насилие над человеком ра-зумным стало делом моего существования, повергая меня в транс. Не было суток, чтобы я не пробирался во тьме внутрь храма лжепророков и не разбивал там старые скри-жали с корявыми рожами святых, а потом, при свете дня, прильнув к кирпичной кладке брусничного цвета с искрой плесени, не наслаждался недоумением пасторов и сторо-жей. Маскировка мстительного камня, некогда засланного угрюмыми друидами! Кому бы взбрело в голову назвать погромщиком куст дикого винограда, невинно трясшего кудряшками у нартекса, измышляя, как подпустить туда красного петуха?! Не было недели, чтобы я не громил



домов, – удушая их хозяев, – где книжки сложены поклади-стой, припорошенной пылью стопкой или расставлены по цветам, чья гамма не совпадала с колоритом футарка моих огненных рун. Ведь стоит вам не увидеть моего бирюзового «феху», еху – и вам конец! А как я взрывал мостовые! – те, сработанные дланями арестованных аристократов для вящей гордыни холопских ступней, – особенно если под булыжниками я учуивал солярные потуги проросшего жёлудя. А как славно руки ночных бражников, тех, что полны истошной варварской кровушки, тянулись к разбросанным по улице тёсаным камням, дабы запустить ими в затылок сытого стража порядка! Кокнуть кокон городской дрёмы! Не говорить. Не объяснять. Только означать! Из самых лиходейских полуночников набирал я, доверившись единственно вкусу и запаху их тел, послушников своей разбойничьей веры, – для которых моя дикая дикая стала святой, – выжимал до дна да дегустировал души! По-младенчески! – как людской сосунок тянет в рот всякую вещь на пробу – сравнивая её с нектаром материнской груди.

* * *

Радуга ещё не успела поблекнуть, и мои языки слизнули лишь полдюжины мускатных слёз – а вот вам уже избранная коллекция глянцевого кадров обеих моих жизней. О столетия, как они гаснут, удаляясь, вверх, по многоцветному мосту, к солнцу: step, step, – словно дебелая Кибела осторожно уводит по лестнице зажмурившиеся, полные к ней доверия, прожитые мною века, предусмотрительно вздымающие при ходьбе иссечённые в кровь колени. Step, step, step, – пропитался я, мгновенно заводясь Божьим бешенством, ритмикой воображённых шагов моего прошлого, тихих, точно голубиных. Я потянулся, храпом отгоняя грёзы, удовлетворённо хрустнул лозами, завертел бородой из обновлённых гроздей и зажмурился всеми очами. Будто



выздоровливающий, набравшийся сил, сорвался я с места, кинулся к вершине, остановившись только на голом выступе скалы, где согнал желтокрылого, с чёрными прожилками махаона. Парусник воспарил по спирали, замелькал красно-бурыми глазками в углах крыльев и пропал. Внизу возлежал насыщенный кровью давешней ночи Запад. Это были мои Имир и мир – не кому-нибудь, а именно мне надлежало выдавливать в них древнюю козлиную сущность, доводить человека до нашего исконного иступления мудрости. Улучшать людской вид душой сатира!

Рядом, по горной дороге, прогромыхал «фольксваген», амфибия, подобно мне. Такие встречал я на полях под Лигницем десятилетий семь тому назад, когда планета отчаянно билась за неслыханное счастье, проигрывая войну. Автомобиль ревел, словно сетуя на отсутствие крыльев, – невозможность взмыть к блекнувшей радуге. С его запасного колеса, затопляя всё вокруг светом, сверкала сварганенная сварливым Сварогом свастика. Из радиоприёмника машины вылетали валькирии, а расщеплённый молнией яшень дирижировал стаей, вознося к солнцу дугообразные ветви. «Фольксваген» давно скрылся, но знойное ущелье ещё долго сотрясалось рокотом высшего пилотажа воительниц. Привычный трепет пронзил меня: началось ускорение – давненько его не случилось! И, чуя, что я обязан снова спуститься туда, вниз, к людям и храмам чуждого им, давно удушенного завистью бога, закатиться, избегая троп человеческих, я изогнулся от дикой ломки. Меж моих ветвей скоро проросли плечевые кости, раздвоились на лучевую с локтевой, вытянулись запястьями, сразу удлинившимися пальцами. Из них, пронзая грозди, даже давя виноград, показались маховые, а за ними кроющие перья, лоснясь опахалами. И когда простёртые к светилу крылья вздохнули в порыве истинного сверхчеловеческого счастья, я, разбежавшись, оттолкнулся корнями от скалы.